



Мэриэнн Кронин

Сто лет Денни и Марго

Corvus

ЦЕЛЫЙ ВЕК
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДВУХ ЖЕНЩИН

Мэриэнн Кронин
Сто лет Лени и Марго

«Corpus (АСТ)»

2021

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Кронин М.

Сто лет Ленни и Марго / М. Кронин — «Corpus (ACT)», 2021

ISBN 978-5-17-121604-7

Это история дружбы двух умирающих женщин – 17-летней Ленни и 83-летней Марго. Их болезни неизлечимы, конец близок, но обе они находят в себе силы жить полной жизнью, использовать все время, что им осталось, с удовольствием и пользой. Нашим героиням сто лет на двоих, и они решают запечатлеть прожитый ими век – Марго рисует самые значимые эпизоды, а Ленни их описывает. Это рассказ об удивительной дружбе, преодолевающей время, о том, какое наследие мы оставляем, как мы влияем на жизнь других, даже когда нас самих уже нет.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-121604-7

© Кронин М., 2021
© Corpus (ACT), 2021

Содержание

Часть первая	6
Ленни	6
Ленни и священник	7
Ленни и вопрос	12
Ленни и Временная Сотрудница	18
Ленни и художественная студия	21
Побег	24
Ленни и Марго	28
Ленни знакомится со сверстниками	31
Семнадцать	35
Ленни и Марго счастливы	39
Сто лет Ленни и Марго	42
Одно утро 1940 года	43
Ленни и Новенькая Медсестра	46
Один вечер 1941 года	47
Ленни и прощение	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Мэриэнн Кронин

Сто лет Ленни и Марго

Marianne Cronin
The One Hundred Years of Lenni and Margot

This edition is published by arrangement with Conville & Walsh UK and Synopsis Literary Agency

Перевод с английского Любови Трониной

© Marianne Cronin, 2021
© Л. Тронина, перевод с английского, 2021
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Издательство CORPUS ®

Часть первая

Лени

Когда я слышу “терминальный”, думаю про аэропорт.

Представляю обширную зону регистрации – высокий потолок, стеклянные стены, сотрудников в форме, поджидающих меня, чтобы узнать мое имя и информацию о рейсе, спросить, сама ли я паковала багаж и одна ли путешествую.

Воображаю отсутствующие лица пассажиров, сверяющихся с табло, родственников, которые, обнимаясь, обещают друг другу, что это не в последний раз. И представляю среди них себя. Позади катится чемодан – безо всякого усилия, ведь пол отполирован до блеска – и, высматривая на табло свой пункт назначения, я как будто парю.

Приходится, однако, вытащить себя оттуда и вспомнить, что для меня “терминальный” означает совсем другое.

Теперь вместо этого стали говорить “ограничивающий продолжительность жизни”. “Дети, юноши и девушки с заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни...”

Сестра произносит это как можно мягче, объясняя, что в больнице появилась служба психологической помощи для юных пациентов с заболеваниями в терминальной стадии. Она запинается, краснеет.

– Простите, я хотела сказать “ограничивающими продолжительность жизни”.

Не хочу ли я записаться? Психолог будет навещать меня в палате, или я сама могу приходить в комнату психологической помощи для молодежи. У них там теперь телевизор есть. Возможностей бесконечное множество, но это слово мне знакомо. Я не первый день в аэропорту. Не первый год.

Однако все еще не улетела.

Я медлю, разглядывая часы на резиновом браслете: они приколоты вверх тормашками к ее нагрудному карману. И покачиваются в такт ее дыханию.

– Хотите, я вас запишу? Наш психолог, Дон, очень славная, правда.

– Спасибо, не нужно. У меня своя терапия, и я прохожу ее прямо сейчас.

Она хмурится, склоняет голову набок.

– Да?

Ленни и священник

Я пришла к Богу, потому что здесь только это и остается. Говорят, если умираешь, значит, Бог призывает тебя обратно к себе, вот я и решила: познакомлюсь с ним заранее, и дело с концом. К тому же я слышала, что никто не может запретить тебе ходить в больничную часовню, если ты верующий, и не хотела упустить возможность побывать там, где еще не была, и заодно встретиться со Всемогущим.

Незнакомая медсестра с вишневыми волосами взяла меня под руку и повела коридорами мертвых и умирающих. Я смотрела вокруг, жадная до всего – всякого нового образа, всякого запаха, всякой непарной пижамной пары, попадавшей навстречу.

Мои отношения с Богом, можно, пожалуй, назвать сложными. Он как вселенский колодец желаний, насколько я понимаю. Я, бывало, кое-что просила у него, и иногда он выполнял. А в других случаях не отвечал. В последнее время я, правда, думаю, что мне, может, только казалось, будто Бог не отвечает, а он тем временем втихомолку вкладывал в мое тело всякую дрянь – на, мол, подавись, будешь знать, как меня озадачивать, – которую мне предстояло обнаружить лишь спустя много лет. Закапывал клад для меня.

Вход в часовню впечатления не производил. Я надеялась увидеть изящную готическую арку, но вместо этого уперлась в массивные деревянные двери с квадратными матовыми окошками. И зачем это Богу матовые окошки? Что он там затевает?

Закрыв за собой дверь и оказавшись в полной тишине, мы с новенькой медсестрой как-то растерялись.

– Ну здравствуйте! – сказал он.

Мужчина лет шестидесяти, в черных брюках и рубашке с жестким белым воротничком. С таким видом, будто в этот момент счастлив как никогда.

Я поклонилась.

– Ваша честь.

– Это Ленни... Петерс? – уточнила сестра, обернувшись ко мне.

– Петтерсон.

– Ленни из Майского отделения, – тихо добавила она, отпустив мою руку.

Мягче и не сформулируешь. Она почувствовала, видимо, что должна предупредить его, ведь он радовался как ребенок, которому в рождественское утро вручили игрушечную железную дорогу в коробке с большим бантом, а на самом-то деле ему преподнесли уже сломанный подарок. Он может, конечно, полюбить эту штуковину, только колеса у нее отваливаются и вряд ли она доживет до следующего Рождества.

Взявшись за трубку капельницы, прикрепленной к другой штуковине на колесиках, я направилась к нему.

– Приду за тобой через час, – сказала новенькая медсестра и добавила еще что-то, но я уже не слушала. А смотрела, замороженная, вверх, на то место, откуда лился свет, и сияние всех мыслимых оттенков лилового и розового поражало меня в самую радужку.

– Тебе понравился витраж? – спросил он.

Коричневый стеклянный крест за алтарем освещал всю часовню. А от него расходились лучами осколки – лиловые, сливовые, пурпурные и розовые.

Казалось, витраж объят пламенем. Свет осыпал ковер, скамьи и наши тела.

Он терпеливо стоял рядом, пока я, насмотревшись, не повернулась наконец к нему.

– Рад познакомиться, Ленни. Меня зовут Артур.

Он пожал мне руку и, надо отдать ему должное, не вздрогнул, прикоснувшись к тому месту, где в мое тело зарывалась капельница.

- Присядем? – он указал на ряды пустых скамей. – Очень рад с тобой познакомиться.
- Вы это уже говорили.
- Правда? Прости.
- Я подкатила капельницу к скамье и, прежде чем сесть, потуже затянула пояс халата.
- Будьте добры, извинитесь перед Богом за мою пижаму.
- Ты уже извинилась. Он все слышит. – Отец Артур уселся рядом.
- Я смотрела на крест.
- Что привело тебя сюда сегодня, Ленни?
- Да вот подумываю подержанный BMW купить.
- Как с этим быть, он не знал, поэтому взял Библию, лежавшую рядом на скамье, пролистнул, не глядя, и положил обратно.
- Вижу, тебе... э-э-э... витраж понравился.
- Я кивнула.
- Повисла пауза.
- У вас есть обеденный перерыв?
- Что, прости?
- Просто интересно: вы закрываете часовню и идете в столовую вместе со всеми или обедаете прямо тут?
- Я, ну...
- Но вообще это даже наглость – уходить на обеденный перерыв, когда у вас, собственно говоря, и так целый день перерыв.
- Перерыв?
- Сидеть в пустой часовне – не такой уж тяжелый труд, ведь правда?
- Здесь не всегда так тихо, Ленни.
- Я взглянула на него – уж не обиделся ли? – но так и не поняла.
- По субботам и воскресеньям у нас месса, по средам мы читаем Библию с детьми, и посетителей у меня больше, чем тебе, наверное, кажется. Больница – место жутковатое. Приятно побыть там, где нет врачей и медсестер.
- Я снова принялась разглядывать витраж.
- Ну так как, Ленни, был у тебя повод сегодня прийти?
- Больница – место жутковатое, – сказала я. – Приятно побыть там, где ни докторов, ни медсестер.
- Он, кажется, засмеялся.
- Хочешь остаться одна?
- И, судя по тону, не обиделся.
- Не очень.
- Хочешь поговорить о чем-то конкретном?
- Не очень.
- Отец Артур вздохнул.
- Хочешь, чтобы я рассказал про обеденный перерыв?
- Да, пожалуйста.
- Я обедаю с часу до часу двадцати. Ем порезанный треугольничками белый хлеб с яйцом и кресс-салатом – моя домработница готовит. Вон за той дверью, – указал он, – мой кабинет, там я за пятнадцать минут съедаю сэндвич и пять минут пью чай. А потом опять выхожу. Но часовня всегда открыта, даже если я в кабинете.
- Вам за это платят?
- Никто мне не платит.
- На что же вы тогда покупаете ваши яйца и сэндвичи с кресс-салатом?
- Отец Артур рассмеялся.

Мы посидели молча, а потом он опять заговорил. Нелегко ему давалось молчание – священнику-то. Я думала, именно тишина дает Богу возможность проявиться. Но отец Артур, видно, тишину не любил, поэтому мы обсудили его домработницу миссис Хилл, которая из отпуска всегда посылала ему открытки, а вернувшись, выуживала их из лотка с корреспонденцией и приклеивала на холодильник. Поговорили о том, как меняют лампочки в витраже (там сзади потайной ход). О пижамах поговорили. Он очень устал, кажется, к тому времени, когда за мной пришла Новенькая Медсестра, но все равно сказал: надеюсь, ты придешь снова.

Однако удивился, по-моему, когда на следующий день я явилась опять – в новой пижаме и на сей раз без капельницы. Джеки, старшую медсестру, мое намерение пойти в часовню и на второй день не очень-то обрадовало, но я, посмотрев на нее пристально, тихо проговорила:

– Мне очень нужно.

А как откажешь безнадежно больному ребенку?

Джеки вызвала медсестру, чтобы меня сопроводить, и опять пришла та, новенькая. Ее вишневые волосы конфликтовали с голубой униформой не на жизнь, а на смерть. В Майском отделении – Мэй-урд – она работала всего несколько дней, поэтому нервничала, особенно в обществе детей из аэропорта, и отчаянно ждала от кого-нибудь подтверждения, что хорошо справляется. В коридоре по пути к часовне я отметила, какой она превосходный провожатый. Кажется, новенькая была довольна.

Часовня опять пустовала, если не считать отца Артура – он сидел на скамье в длинном белом одеянии поверх черного костюма и читал. Не Библию, а какую-то книгу формата А4 в дешевом переплете с глянцевой ламинированной обложкой. Новенькая Медсестра открыла дверь, и я, поблагодарив ее, проследовала внутрь, но отец Артур не пошевелился. Сестра отпустила дверь, та затворилась за нами с глухим тяжелым стуком, и только тогда он обернулся, надел очки, заулыбался.

– Пастор... м-м-м... преподобный? – проговорила, запинаясь, Новенькая Медсестра. – Она... м-м... Ленни хочет побыть здесь часок. Можно?

Отец Артур захлопнул книгу, лежавшую у него на коленях.

– Ну конечно.

– Благодарю вас... м-м-м... викарий?

– Святой отец, – шепнула я.

Она скривилась, залилась краской – тоже вступившей в конфликт с цветом ее волос – и ушла, не сказав больше ни слова.

Мы с отцом Артуром уселись на ту же скамью. Оттенки витража были восхитительны, как и вчера.

– Опять здесь пусто.

Мои слова отозвались эхом.

Отец Артур промолчал.

– А раньше часовня не пустовала? Ну прежде, когда люди были набожней?

– Она и сейчас не пустует.

Я повернулась к нему.

– Кроме нас тут никого.

Он явно был в стадии отрицания.

– Вам, видно, не хочется об этом говорить, что вполне понятно. Досадно, наверное. Как будто вы закатили вечеринку, а никто не пришел.

– В самом деле?

– Ну да. Вот вы сидите тут в лучшем своем вечернем платье, белом, с красивой вышивкой – виноградные гроздья и все такое...

– Это облачение. А не платье.

- Ну облачение. Вот сидите вы в своем вечернем облачении, накрыли стол к обеду...
- Это алтарь, Ленни. И не обед, а Святые Дары. Хлеб Христов.
- И что, он не поделится?

Отец Артур посмотрел на меня укоризненно.

- Это для воскресной службы. Я не ем священный хлеб на обед и не обедаю у алтаря.
- Да-да, вы едите яйцо с кресс-салатом у себя в кабинете.
- Точно. – Он даже просиял, ведь я что-то о нем помнила.
- Ну вот, вы все подготовили для вечеринки. Есть музыка, – я указала на унылый проигрыватель для CD и кассет в углу, рядом с которым лежали аккуратной стопочкой диски, – и есть где рассестся, – я указала на ряды пустых скамей. – А никто не идет.
- На мою вечеринку?
- Именно. Целый день, каждый день вы закатываете вечеринку в честь Христа, а никто не приходит. Ужас как неприятно, наверное.
- Ну... м-м-м... Ну можно, пожалуй, и так сказать.
- Простите, если делаю только хуже.
- Ничего ты не делаешь хуже, но, честное слово, Ленни, здесь не вечеринка. А место богослужения.

– Ну да. Нет, это мне ясно. Я просто хотела сказать, что понимаю вас. У меня тоже была однажды вечеринка – мне исполнилось восемь, мы только переехали в Глазго из Швеции. Мама пригласила всех моих одноклассников, но почти никто не пришел. Хотя по-английски мама в то время говорила так себе, поэтому очень даже может быть, что все пришли, просто не туда – стояли с воздушными шарами и подарками и ждали, когда же начнется вечеринка. Так мне, по крайней мере, хотелось думать.

Я помолчала.

- Продолжай, – предложил отец Артур.
- Ну вот, я сидела в гостиной, на одном из стульев, которые мама расставила кружком, ждала, когда кто-нибудь явится, и чувствовала себя отвратительно.
- Печальная история.
- Вот я и говорю. Обидно, когда никто не приходит на твою вечеринку, знаю. И мне очень жаль. Просто вам, по-моему, лучше этого не отрицать. Проблему можно решить, только посмотрев ей в лицо.
- Но часовня не пустует, Ленни. Не пустует, потому что ты здесь. Не пустует, потому что наполнена Духом Божьим.

Теперь я посмотрела на него укоризненно.

Он поерзал на скамье.

– Да и что смешного в уединении? Здесь ведь не только место богослужения, но и место покоя. – Он поднял глаза к витражу. – Я очень рад, что с каждым пациентом могу побеседовать наедине, а значит, уделить ему все свое внимание, и, не пойми превратно, Ленни, но, мне кажется, Богу угодно, чтобы именно тебе я уделил все свое внимание.

Эти слова меня насмешили.

- Я думала о вас в обед. Вы и сегодня ели яйцо с салатом?
- Ел.
- И как?
- Как всегда, чудесно.
- А миссис?..
- Хилл. Миссис Хилл.
- Вы рассказали миссис Хилл о нашем разговоре?
- Нет. Сказанное здесь – тайна. Поэтому люди сюда и приходят. Можно говорить начистоту и не бояться, что кто-нибудь узнает потом.

- Так это исповедь?
- Нет, но если хочешь исповедаться, с радостью помогу тебе это устроить.
- Если не исповедь, что тогда?
- А что тебе угодно. И часовня эта станет для тебя чем угодно, затем и существует.

Я оглядела пустые скамьи, электронное пианино под пыльным бежевым чехлом, доску объявлений с приколотым к ней изображением Иисуса. Если эта часовня может стать чем угодно, то что мне угодно?

- Хочу, чтобы она была местом ответов.
- Она может им стать.
- Может ли? Разве может вера вообще дать ответ на вопрос?

– Ленни, Библия учит, что Христос помогает найти ответ на любой вопрос.

– Но можно ли получить ответ на конкретный вопрос? Если честно? Можете вы мне ответить на вопрос, не говоря, что жизнь есть тайна, или все есть замысел Божий, или ответы, которых я ищу, придут со временем?

– А ты сначала задай вопрос, и будем вместе разбираться, как Бог поможет нам найти ответ.

Я откинулась на спинку скамьи, и та скрипнула. Эхо раскатилось по часовне.

- Почему я умираю?

Ленни и вопрос

Яне смотрела на отца Артура, задавая вопрос, – на крест смотрела. Отец Артур медленно выдохнул. Я все ждала, когда он ответит, но он просто дышал дальше. Он, может, и не знал, что я умираю? Да нет, резонно возразила я сама себе, сестра ведь сказала ему “она из Майского отделения”, а никто из Майского отделения не собирается жить долго и счастливо.

– Ленни, – ласково проговорил отец Артур немного погодя, – этот вопрос серьезней всех остальных. – Потом откинулся назад, и скамья снова скрипнула. – Забавно, знаешь ли, но чаще всего меня спрашивают именно почему. А с почему всегда сложно. С как, что или кто я разберусь, но даже не буду делать вид, что знаю почему. Я пытался отвечать на этот вопрос, когда только начинал служить.

– Но больше не пытаетесь?

– Думаю, этот вопрос вне моей компетенции. Только Он может ответить. – Отец Артур указал на алтарь, будто Бог прятался за ним – сидел на корточках и слушал.

Я махнула рукой: ну вот, мол, говорила же.

– Однако это не значит, что ответа нет, – поспешил добавить отец Артур, – он есть, но только у Бога.

– Отец Артур...

– Да, Ленни?

– Столько лапши мне еще на уши не вешали. Я тут умираю! И пришла к уполномоченному представителю Бога с важнейшим вопросом, а вы меня к нему же и отправляете? У него я уже допытывалась, но ответа не получила.

– Ответ не всегда дается словами, Ленни. Есть много других способов.

– Зачем тогда говорить, что здесь место ответов? Почему не сказать честно: “Ну да, библейские идеи нельзя истолковать однозначно, и ответов на твои вопросы у нас нет, зато есть красивый витраж”?

– А если бы ты получила ответ, то какой, по-твоему?

– Может, Бог сказал бы, что я беспокойная и надоедливая и поэтому он убивает меня. А может, настоящий бог – Вишну, и его просто бесит, что я и не думала никогда ему молиться, а зачем-то тратила время на вашего христианского Бога. А может, никакого Бога нет, да и не было, и миром управляет черепаха, которая ничегошеньки в этом не смыслит.

– И тогда тебе стало бы легче?

– Вряд ли.

– А случалось такое, что тебе задавали вопрос и ты не знала ответа?

Его спокойствие, надо признать, впечатляло. Отец Артур прекрасно знал, как повернуть твой вопрос против тебя же. Он явно не со мной первой тут разглагольствовал на тему “Почему я умираю”. И это еще больше расстраивало.

Я покачала головой.

– До того, знаешь, противно бывает, – продолжил он, – когда приходится говорить людям, что нет у меня ответа, который они ищут. И все равно здесь место ответов – просто ответы могут быть неожиданные.

– Так говорите же, отец Артур, рубите с плеча. Какой ответ? Почему я умираю?

Отец Артур устремил на меня ласковый взгляд.

– Ленни, я...

– Нет, вы просто скажите. Пожалуйста. Почему я умираю?

Сейчас он заявит, что честный ответ – не по церковному протоколу, уже успела подумать я, но тут отец Артур, огладив седую щетину на подбородке, ответил:

– Потому что умираешь.

И отвел глаза – то ли увидел, что я нахмурилась, то ли пожалел, что, поддавшись на мои уловки, все же сказал хоть какую-то правду.

– Вот мой ответ, и другого у меня нет: ты умираешь, потому что умираешь. Не потому, что Бог решил наказать тебя или не заботится о тебе – просто умираешь, и всё. Так тебе суждено, как суждено и существовать.

Отец Артур долго молчал, а потом повернулся ко мне.

– Посмотри на это вот с какой стороны. Почему ты живешь?

– Потому что мои родители занимались сексом.

– Яне спросил, как так получилось, что ты живешь, я спросил почему. Почему ты вообще существуешь? Почему ты живешь? Для чего твоя жизнь?

– Не знаю.

– Вот так, по-моему, и со смертью. Мы не можем знать, почему ты умираешь, как не можем знать и почему живешь. Жизнь и смерть – абсолютные загадки, разгадаешь только покончив и с тем и с другим.

– Поэтично. И иронично. – Я потеряла руку в том месте, куда вчера впивалась игла. Иглы уже не было, но боль осталась. – Религиозное что-нибудь читали, когда я пришла?

Отец Артур взял лежавшую рядом книгу. На спирали, с обтрепанными краями и в желтой обложке с жирным заголовком “Дорожный атлас Великобритании”.

– Паству свою искали?

Когда за мной явилась Новенькая Медсестра, я думала, отец Артур на землю бросится и станет ей ноги целовать или выбежит с криком в едва открывшуюся дверь, но он лишь терпеливо подождал, пока я дойду до выхода, вручил мне брошюру и сказал: надеюсь, ты еще придешь.

И потому ли, что он так нагло отказывался кричать на меня и не желал признавать, что я ему надоела, или потому, что в часовне было так хорошо и прохладно, но, забирая у него брошюру, я уже знала, что вернусь.

Однако отложила визит на неделю. Подумала: дам ему время, пусть осмелится предположить, что я, может, больше не приду. И только отец Артур успел привыкнуть вновь к уединенной жизни в пустой часовне – ба-бах! Я тут как тут, ковыляю к нему потихоньку в лучшей своей розовой пижаме, готовясь выпалить очередной заряд претензий в адрес христианства.

На этот раз он, наверное, увидел меня еще в коридоре сквозь те самые матовые окошки, потому что открыл дверь со словами: “Привет Ленни, а я все думал, когда тебя увижу”, начисто лишив драматизма мое возвращение – для всех присутствующих.

– Я цену себе набивала.

Он улыбнулся Новенькой Медсестре.

– И долго я сегодня буду наслаждаться обществом Ленни?

– Целый час, – улыбнулась она в ответ, – преподобный.

Отец Артур не стал ее поправлять и держал дверь открытой, пока я, дребезжа, продвигалась по проходу между скамьями. На этот раз я села в первом ряду: может, так Бог скорей меня заметит.

– Можно? – спросил отец Артур, и я кивнула.

Он сел рядом.

– Ну, Ленни, как чувствуешь себя сегодня утром?

– Не слишком плохо, спасибо. А вы?

– Замечаний насчет совсем пустой часовни не будет? – спросил он, обводя помещение рукой.

– Не-а. По-моему, замечаний будет достоин тот день, когда здесь появится кто-нибудь, кроме нас. Не хоч, чтобы из-за меня вы думали, будто плохо выполняете свою работу.

– Очень мило с твоей стороны.
– Может, вам пиарщик нужен?
– Пиарщик?
– Ага. Ну, знаете, специалист по маркетингу: афиши, реклама и все такое. Нужно, чтобы о вас узнали. Тогда скамьи заполнятся и вы, может, получите прибыль.

– Прибыль?
– Ну да. Пока что вы даже в ноль не выходите.
– Я не беру плату с проходящих в церковь, Ленни.
– Знаю, но представьте, под каким Бог будет впечатлением, если ваша симпатичная церковь оживет да еще начнет приносить ему немного денег.

Отец Артур как-то странно мне улыбнулся. Я вдохнула запах задутой свечей, наводивший на мысль, что где-то поблизости прячется именинный торт.

– Хотите, я вам кое-что расскажу?
– Конечно. – Отец Артур сцепил руки в замок.

– Когда еще в школу ходила, я частенько болталась ночами по Глазго с компанией девочек. И был у нас там один ночной клуб, до того дорогой, что пойти в него никто не мог себе позволить. Очереди снаружи не выстраивались, но стоило взглянуть на черные бархатные канаты и двери, выкрашенные серебряной краской, и сразу становилось ясно: там внутри что-то особенное. У дверей стояли два вышибалы, хотя туда, по-моему, никто никогда не входил и не выходил оттуда. Семьдесят фунтов за вход – вот и все, что нам было известно. Слишком дорого, говорили мы и проходили мимо, но любопытство с каждым разом разбирало все сильнее. Мы должны были узнать, почему он такой дорогой и что по ту сторону. Поэтому сговорились, накопили денег и прошли туда по фальшивым документам. И знаете что?

– Что?
– Оказалось, там стрип-клуб.

Отец Артур приподнял брови, потом смущенно опустил, словно забеспокоившись, как бы я по ошибке не подумала, что он не просто ошарашен, а заинтригован или возбужден.

– Мне не очень-то ясна мораль этой истории, – осторожно заметил он.

– Я вот к чему: именно высокая цена заставила нас поверить, что вход в этот клуб стоит таких денег. Будете тоже брать плату за вход, люди, глядишь, и заинтересуются. Можно и вышибал нанять.

Отец Артур покачал головой.

– Не устаю говорить тебе, Ленни, моя часовня не обделена вниманием. Я много беседую с пациентами и их родными. Люди часто ко мне приходят, просто...

– Просто я, по чистому совпадению, всегда заглядываю в тот момент, когда здесь никого?

Отец Артур возвел глаза к витражу, и я почти услышала его внутренний монолог: Господи, дай мне сил ее вынести.

– Ты размышляла над нашим последним разговором?

– Немного.

– Ты задала хорошие вопросы.

– Вы дали бесполезные ответы.

Помолчали.

– Отец Артур, я все думала, сможете вы сделать для меня кое-что?

– Что мне для тебя сделать?

– Можете один раз сказать мне правду, холодную, освежающую правду? Без церковной пропаганды и красивых слов. Правду, в которую вы верите до глубины души, пусть даже она причиняет боль, пусть даже начальство уволит вас, если скажете мне ее.

– Мое начальство, как ты говоришь, – Иисус да Господь Бог.

– Они-то вас уж точно не уволят – они за правду.

Я думала, он дольше будет размышлять, какую бы сказать правду. Может, захочет с папой римским связаться или дьяконом каким и выяснить, позволят ли ему отпустить немножечко правды без официальных инструкций. Но перед самым приходом Новенькой Медсестры отец Артур смущенно повернулся ко мне. Как будто хотел вручить подарок, но очень сомневался, что тот понравится получателю.

– Хотите правду сказать?

– Да. Ты говоришь, Ленни: хочу, чтобы здесь было место ответов, и... я бы тоже хотел, чтобы здесь было такое место. Я дал бы тебе ответы, знай я их.

– Я так и поняла.

– А я надеюсь, ты снова придешь. Что скажешь на это?

Добравшись до своей кровати, я обнаружила записку от Новенькой Медсестры: “Ленни, поговори с Джеки – с соцслужбы”.

Я исправила ошибку оставленным ею карандашом и направилась к сестринскому посту. Джеки, старшую медсестру с цапельей головой, там не застала. Но заметила нечто любопытное.

У стола медсестер стояла тележка для сортировки мусора – дожидалась возвращения Уборщика Пола. Большой бак на колесиках. Раньше на ручке несмываемым маркером было написано “Подлая машина”, но надпись закрасили. Обычно в тележке Пола я не нахожу ничего интересного, но в тот день кое-что интересное увидела – пожилую даму, которая, перегнувшись через бортик мусорного бачка и запустив в него обе руки, шуршала лежавшими внутри бумажками, – ее маленькие ступни в лиловых тапочках едва касались пола.

Обнаружив, по-видимому, искомое, старушка выпрямилась – ее седые волосы растрепались от усердия. Сунула конверт в карман лилового халата.

И тут лязгнул дверной замок – кто-то потянул за ручку. Из кабинета выходили Джеки и Пол.

Старушка перехватила мой взгляд. Она не хотела, похоже, чтобы ее застали за тем, чем она там занималась.

И когда Джеки и Уборщик Пол показались из кабинета – она с усталым видом, он со скучающим, – я взвизгнула.

Они уставились на меня.

– Привет, Ленни! – Пол расплылся в улыбке.

– Что такое, Ленни? – спросила Джеки. Лицо ее в том месте, где клюву бы расти, вытянулось в недовольную складку.

Мне нужно было, чтобы они не сводили с меня глаз, пока лиловая старушка за их спинами слезает с мусорного бачка и чрезвычайно медленно пускается в бегство.

– Я... там... паук. В Мэй-урд.

Джеки закатила глаза, будто это я во всем виновата.

– Сейчас поймем, дорогуша, – сказал Пол, и они оба проследовали мимо меня в палату.

Старушка, уже отошедшая на безопасное расстояние, вглубь коридора, вынула конверт из кармана, остановилась, обернулась. И, поймав мой взгляд, подмигнула.

К моему великому удивлению, Пол и правда ухитрился найти паука – в уголке оконной рамы, где-то в самом конце Мэй-урд. Уж не библейское ли это знамение, подумала я. Ищите и обрящете. Пол поймал паука в пластиковый стаканчик, накрыл рукой и дал нам посмотреть. Я заметила, что на каждой костяшке у него вытатуировано по букве, а вместе выходит – “воля”. Разглядев паука, Джеки посоветовала мне взять себя в руки и сказала: пришла бы ты летом ко мне на барбекю да поторчала в саду за домом, вот тогда бы и увидела настоящего паука. У нее-то под деревянной террасой паучищи живут о-го-го, попробуешь накрыть такого пивным стаканом – отрубишь лапы, которые останутся снаружи. Вежливо отклонив приглашение, я направилась к своей кровати.

Последняя брошюра отца Артура лежала у меня на тумбочке, поверх стопки таких же скорбных приношений. Иисус везде был разный. Озабоченный Иисус, Иисус с овцами, Иисус с ребятишками, Иисус на камне. Один другого иисусистей.

Я задернула шторку вокруг кровати и приняла задумчивую позу. Отец Артур сказал, что и хотел бы дать людям ответы, да не может. Каким бессильным, должно быть, чувствуешь себя в этой роли: люди вечно задают тебе вопросы, и ты не можешь ответить. Священник без ответов – все равно что человек, который плавать не умеет, а его то и дело просят: научи. И он невероятно одинок, это ясно. Я знала, всегда знала, что никаких ответов за тяжелыми дверями часовни не найду. Вместо них я нашла того, кому нужна моя помощь.

Дня два я разрабатывала комплексный план привлечения пациентов в часовню. Нарисую несколько броских, но загадочных плакатов, может, даже внимание прессы удастся привлечь. Ребят с больничной радиостанции попробую, пожалуй, подговорить и передать часовне привет в эфире. На религию упирать не буду, лучше отмечу, как терапевтичны мои беседы с отцом Артуром, и, например, скажу между делом, что в часовне прохладно. Пациентам это понравится, ведь температура воздуха в больницах в любое время чуть выше комфортной, будто согласно какому-то закону. Такая, что ты всегда немного липкий. Но не такая, чтобы жарить маршмеллоу.

Новенькая Медсестра отвела меня к часовне, и я, желая убедиться, что отец Артур в настроении обсуждать маркетинг, заглянула в щель приоткрытой двери. Но он был не один.

Напротив отца Артура стоял мужчина в точно таком же костюме – белый воротничок, строгая темная рубашка и брюки. Они обменялись рукопожатием, и незнакомец покровительственно обнял две соединенные руки другой рукой, будто укрывая от холода или сильного ветра, который может оторвать их друг от друга, а значит, расстроить достигнутое соглашение.

Мужчина был темноволосый, темнобровый. Неопределенного возраста. Он улыбался. По-акульки.

– Там кто-нибудь есть? – спросила Новенькая Медсестра.

– Ага, – шепнула я.

В этот момент мужчина без возраста направился к выходу. Я едва успела выпрямиться, как дверь открылась, а стоявшие за ней незнакомец и отец Артур уставились на меня.

– Ленни, какой сюрприз! – воскликнул отец Артур. – И давно ты тут ждешь?

– Вам удалось! – сказала я. – Удалось кого-то завлечь.

– Что, прости?

– У вас новый посетитель! – Я повернулась к мужчине без возраста: – Здравствуйте, еще один друг Иисуса или отца Артура!

– А! Ну, вообще-то, Ленни, это Дерек Вудс.

Дерек протянул руку. Сказал невозмутимо:

– Здравствуй!

Я сунула проект спасения часовни под мышку и пожала ему руку.

– Дерек, это Ленни, – пояснил отец Артур. – Она здесь частая гостья.

– Очень приятно, Ленни. – Дерек улыбнулся мне и Новенькой Медсестре, неловко топтавшейся у дверей.

– Честно говоря, я так рада, что сюда приходит кто-то, кроме меня. Вы первый, кого я вижу здесь за несколько недель. – Отец Артур опустил глаза в пол. – Поэтому от лица фокус-группы спасителей часовни хочу поблагодарить вас, что отдали ей предпочтение.

– Фокус-группы? – Дерек повернулся к отцу Артуру.

– Прости, Ленни, я не совсем понимаю... – Отец Артур глянул на Новенькую Медсестру.

– Ничего, я все вам расскажу при следующей встрече. – Я обратилась к Дереку: – Надеюсь, вы уже поправляетесь.

– Дерек не пациент, – сказал отец Артур. – Он из часовни Личфилдской больницы.

– Ну, как бы там ни было, а все-таки на нашем счету еще один посетитель, и у меня есть план, как привлечь христ...

– Дерек согласился занять это место.

– Какое место?

– Мое. Увы. Я ухожу, Ленни.

Я почувствовала, как загораются щеки.

– Но я с большим удовольствием послушаю о твоих планах относительно часовни. –

Дерек положил руку мне на плечо.

И тогда я отвернулась.

А потом убежала.

Ленни и Временная Сотрудница

В сентябре прошлого года в больницу наняли временную сотрудницу.

Служба по обеспечению взаимодействия с пациентами и их благополучия понесла большие потери в результате двух увольнений по собственному желанию и одной беременности. Временная Сотрудница, имевшая, как большинство ей подобных, слишком высокую квалификацию, только что окончила Хороший Университет с Хорошей Степенью по Хорошей Специальности. Вот только рынок уже насытили другие Хорошие Выпускники не менее авторитетных учреждений, поэтому она и ухватилась за вакансию временного помощника по административным вопросам в больнице Глазго “Принсесс-ройал”. Неважно, что работа эта не имела никакого отношения к ее диплому в области искусства или карьерным целям – она рада была не прозябать больше на улице вместе с другими выпускниками 2013 года.

Временную Сотрудницу немедленно заняли делом, и несколько месяцев она работала не покладая рук – вводила данные, делала копии, поглядывая в окно на больничную парковку и тоскуя по студенческим годам. И вот однажды в беседе со своим начальником – большим мужчиной, благоухавшим поддельным дизайнерским парфюмом, купленным на рынке, она упомянула статью, которую недавно прочла (чем так возбудила любопытство начальника, что он даже поднял голову от смартфона), – о благотворительном художественном фонде, выделяющем больницам и интернатам немалые деньги на программы арт-терапии для пациентов.

Начальник сказал ей, что сегодня сам сделает копии документов, и на месяц Временная Сотрудница забыла и думать про всякую офисную дребедень. Она составляла заявку на финансирование, договаривалась о ценах с подрядчиками, общалась с поставщиками художественных принадлежностей и заполняла несметное множество документов по охране здоровья и технике безопасности, необходимых, чтобы, пройдя сквозь юридические дебри, допустить тяжелобольных людей в помещение с карандашами и ножницами для рукоделия, которыми они могут нечаянно что-нибудь себе проткнуть.

Презентация заявки проходила в Лондоне, в головном офисе благотворительного фонда. Пока Временная Сотрудница ждала приглашения в конференц-зал, у нее так вспотели ладони, что на документе внизу остались мокрые пятна – пришлось просить временную сотрудницу фонда сделать копию.

Известие пришло в четверг утром, сразу после одиннадцати. Первый абзац – благодарим за обращение и бла-бла-бла – она пропустила и перешла ко второму, начинавшемуся так: “Ваш грант включает. Получилось. В больнице Глазго “Принсесс-ройал” будет художественная студия.

Над этой студией Временная Сотрудница работала как ни над чем и никогда. В пабе по вечерам навела тоску на друзей, рассказывая последние новости декоративно-прикладного искусства в медицине. По выходным расписывала горшки для цветов, которые будут рисовать пациенты. Придумала три плаката с рекламой новой студии и даже освещение в СМИ обеспечила – репортажи в двух местных газетах и региональном выпуске новостей.

Накануне торжественного открытия Временная Сотрудница пришла убедиться, что в студии все готово. Кабинет получился просторный (ведь под него отвели два помещения, где раньше располагался компьютерный склад) и имел еще одно преимущество – большие окна с двух сторон, а значит, естественное освещение. Были здесь и шкафы с художественными принадлежностями, и книги по искусству, и маркерная доска для учителя, и столы со стульями разной высоты и удобства для пациентов с любыми потребностями, и раковина, чтобы кисти мыть, а одна стена завешана демонстрационными досками с тесемками и прищепками – тоже на разной высоте, чтобы рисунки сушить.

Она обвела комнату взглядом. Все было готово, все замерло в ожидании. Карандаши еще целы, столы чисты, а раковина сияет белизной, и пол не закапан краской. Скоро настанет день, подумала она, и эта комната загудит, оживет, наполнится цветом и экспрессией. Здесь пациенты найдут утешение. Здесь их услышат. Здесь они на время перестанут быть “больными” и станут просто людьми. Прежде чем запереть дверь, она вдохнула запах свежеевыкрашенных стен и напонила себе, что всего лишь пару месяцев назад здесь был бестолковый склад компьютерной техники.

В день торжественного открытия Временная Сотрудница приехала на работу, чуть живая от волнения. Ей не терпелось рассказать всем о студии, но главное, не терпелось показать ее пациентам. Что будет, когда они войдут и приступят к делу, – этого она не могла вообразить. Какие истории поведают их первые рисунки?

Явившись в кабинет в новом, специально купленном костюме, она все никак не могла понять, почему Начальник так сдержан, избегает ее взгляда и вообще атмосфера какая-то... невеселая. Она показала ему на смартфоне пост в твиттере, пробежалась по программе открытия.

– Слушай, мне совсем не хочется ставить тебя в неловкое положение, особенно сегодня, – Начальник запустил пальцы в остатки своих волос, – но нам нужен учитель рисования, а бюджет урезали и временным сотрудникам надо за работу в выходные платить..

Сердце Временной Сотрудницы забило быстрее – она, конечно, надеялась, что он попросит, если уж говорить правду. В студию потребуется учитель, это было ясно, а Начальник все тянул и не нанимал. Он знал, что у нее степень по искусству – так кого еще брать? Сотрудница стиснула пальцы.

– Словом, я нанял женщину, и ей придется платить больше, чем предполагалось, так что мы не сможем перезаключить с тобой договор в конце месяца – средств нет. Но, пожалуйста, присутствуй на открытии. И формально твой договор действует еще три недели.

Секунды три-четыре Временная Сотрудница улыбалась, пока ее ошеломленный мозг пытался сообщить рту, что улыбка тут неуместна.

Пришло время давать интервью для телевидения. Временная Сотрудница повела журналистов в студию, помогла им снять маленьких пациентов, приглашенных на торжественное открытие. (“Только с переломами, пожалуйста, чтобы не слишком тягостно, раковых больных не нужно” – такова была инструкция Начальника.) Затем ведущий поставил и ее вместе с детьми – Временная Сотрудница показывала им, как изобразить звезду, и ребята рисовали – густой желтой гуашью на черном фоне, а камера делала панорамную съемку. Затем взяла крупным планом Начальника, который явился с деловым видом, источая невыносимый аромат поддельного “Гуччи” и всем давая понять, что он – руководитель проекта. Ему прицепили микрофон – подготовили к интервью, которое покажут в вечерних новостях – в 18.00 и 22.30. Временная Сотрудница медленно поднялась с места и покинула помещение.

Она сдерживала слезы всю дорогу до кабинета. А там выложила на пол бумагу из коробки, поспешно собрала в нее свое добро: кружку, фоторамку, бумажные салфетки. Она думала, вещей будет гораздо больше, поэтому даже свои записи и образцы краски для студии аккуратно поместила в коробку. Оставила пропуск на столе у Начальника и захлопнула за собой дверь.

Мысли ее затуманились – от избытка эмоций. Она хотела выбраться из здания, прежде чем съемочная группа, дети и журналисты выйдут в коридор, – встреча с ними была бы невыносимой. Но без пропуска воспользоваться служебным входом Временная Сотрудница не могла, только главным, а как к нему пройти – не помнила. Заплутав в лабиринте больничных коридоров, она бросилась бежать.

И девочку в розовой пижаме заметила, только налетев на нее.

Сотруднице удалось удержать равновесие, а девочке в пижаме нет. Споткнувшись, она рухнула на пол. Горкой костей в розовом.

Сотрудница пробовала извиниться, но выдать смогла лишь какое-то кудахтанье. Медсестра, сопровождавшая девочку, села рядом с ней на корточки и крикнула шедшему мимо уборщику, чтобы прикатил инвалидную коляску. Лица девочки Сотрудница не увидела, разглядела только худые руки, пока сестра суетливо усаживала свою подопечную в коляску и увозила. Сотрудница кричала извинения им вслед.

А вечером, вспоминая худые руки девочки, которую подняли и усадили в коляску, Сотрудница не могла уснуть – несколько бокалов мерло плескалось внутри, совсем не облегчая, однако, ее раздумий. Она не могла туда вернуться. Но должна была.

На следующий день Сотрудница решила разыскать девочку в розовой пижаме и позвонила в детское отделение. На вид лет шестнадцать-семнадцать, светлые волосы и эта самая розовая пижама – других примет она не могла сообщить. Минут сорок ее просили подождать, переводили на другую линию, расспрашивали о цели звонка, а она выдумывала, кем приходится этой пациентке, и наконец Сотруднице назвали палату, где девочку предположительно можно найти.

Вот так Временная Сотрудница и оказалась у моей кровати – в руке букетик желтых шелковых роз, на лице раскаяние.

Ленни и художественная студия

Пожалуй, Временная Сотрудница оказалась симпатичнее, чем вы могли себе представить. И выше ростом. Только очень уж боязливая. Удивилась, кажется, что кости мои не стеклянные и не расколуются, если она присядет на край кровати. Как видно, у нас общие корни, сообщила Временная Сотрудница, ведь ее отец тоже швед. Или швейцарец. Она не помнит. Важная, конечно, деталь. Но после она сообщила кое-что поважней.

Нужно спросить у Джеки, можно ли мне пойти в студию, сказала Новенькая Медсестра. Это не я решаю, сказала Джеки, и Новенькой Медсестре пришлось искать врача, который подтвердил бы, что меня можно допустить в новую художественную студию для пациентов и я не подвергнусь риску чем-нибудь заболеть, заразиться и трубку моей капельницы не перегрызут бешеные волки.

Новенькая Медсестра все не возвращалась. Дожидаясь ее, я читала старую утреннюю газету. Уборщик Пол иногда оставляет их для меня на прикроватной тумбочке. Больше всего люблю местные газеты – для них весь остальной мир не существует, важно только, что при здешней начальной школе открыли естественный сад, а старушка связала покрывало для нуждающихся. Дети становятся на год взрослее, подростки выпускаются из школ, дедушек и бабушек провожают в последний путь. Всё здесь невелико и поддается управлению, все сходят в могилу в свой черед.

Я дочитала газету, подождала еще. Сначала просто терпеливо ждала, а потом принялась все как следует обдумывать. Существует некое помещение, кубическое пространство, где я еще не бывала. Там, вероятно, есть краски, перья, бумага и (дай Вишну) блески. Может, удастся заполучить даже несмываемый маркер для граффити, которое я давно задумала. Прямо у меня над головой, на полочке из розеток и переключателей, любезно размещено напоминание о моей недолговечности. Маркерная доска с надписью “Ленни Петтерсон”, сделанной красным маркером, рядом с последней “н” – пятно. А с такой ведь проще простого все стереть. Она для того и предназначена, чтобы использоваться снова, снова и снова, носить имена тех немногих, кому не повезло угодить в Мэй-урд. Когда-нибудь один лишь короткий взмах ластика для маркеров не оставит от меня и следа. Другой пациент с худыми руками и большими глазами займет мое место.

Я подождала еще.

Когда я только сюда поступила, у меня были наручные часы, но даже тогда я без конца у всех спрашивала, сколько времени, а потом переспрашивала – не верила ответам. Я вроде бы два месяца уже провела в Мэй-урд, а выяснялось, что всего-то пару недель.

Но с тех пор прошли годы.

А с того утра прошло семь недель, однако Новенькая Медсестра с новостями насчет студии так и не вернулась. Я испытала тревогу, разочарование, отчаяние, а потом примирилась с ее отсутствием. Именно в таком порядке. Дважды. На пятой неделе ожидания я воссоздала студию мысленно – по описаниям Временной Сотрудницы. Окна все время держала в голове. Временная Сотрудница сказала, что там два больших окна – справа и слева. Пока я ждала – неделю, другую, – окна становились больше и больше, и вот наконец вся дальняя стена студии превратилась в одно огромное открытое окно. А противоположная стена стала целиком состоять из кистей – сотни и сотни торчали из нее – выбери любую.

На шестой неделе я опять воодушевилась. Придумала, что скажу Новенькой Медсестре, когда она придет, чтобы отвести меня в студию, и повторяла про себя. Раздумывала, какие надену тапочки (Обычные Повседневные или Лучшие Воскресные?). К седьмой неделе я успокоилась и приготовилась. С каждым днем моя уверенность росла. Не нужно больше строить планы и воображать. Она придет. Новенькая Медсестра придет за мной.

– Прости, что так долго, – сказала, возвратившись, Новенькая Медсестра. – Надеюсь, ты не ждала меня все это время?

– Ждала. Но ничего, ты ведь пришла.

Новенькая Медсестра посмотрела на часы.

– Боже мой... Два с половиной часа. Прости, Ленни.

Улыбнувшись, я покачала головой. Больница – госпожа суровая. Так уж пролегает линия перемены дат, что Мэй-урд с одной стороны, а сестринский пост – с другой. Единственный способ поспорить с Больничным Временем – не спорить с ним. Если Новенькой Медсестре хочется утверждать, что ее не было всего два с половиной часа, – я не возражаю. Когда споришь с Больничным Временем, все начинают волноваться. Спрашивать тебя, какой, по-твоему, теперь год и помнишь ли ты имя премьер-министра.

– Прости, что заставила ждать, но я с хорошими новостями, – сказала Новенькая Медсестра. – Мы можем пойти туда прямо сегодня.

Не глядя, я сунула ноги в тапочки и только потом обнаружила, что Лучшим Воскресным мои ноги предпочли Обычные Повседневные. Что ж, в сущности, это их дело.

– Идем? – спросила она, протягивая руку.

Я запахла халат, взяла ее за руку и ответила:

– Идем.

Инстинкт самосохранения – поразительная штука. Куда бы я ни шла из Мэй-урд – по привычке запоминаю дорогу. Наверное, подсознание обеспокоено: не в плену ли меня держат? Так что могу рассказать вам, как попасть из Мэй-урд в студию: у сестринского поста поворачиваешь налево и идешь по длинному коридору, сквозь блок двойных дверей попадаешь в другой коридор, идешь прямо, поворачиваешь направо, опять идешь по длинному коридору. Затем, на перекрестке коридоров, поворачиваешь налево и поднимаешься по проходу с едва заметным уклоном. Студия находится справа. Дверь у нее неприметная, но по мне так это только хорошо. Все лучшее скрывается за скромными дверьми.

Новенькая Медсестра постучала, толкнула дверь, и вот она передо мной – художественная студия для пациентов – приготовилась. Белые столы приготовились – скоро на них появятся потеки, пятна и царапины. Их, может, как татуировки, больно будет наносить, зато они сделают каждый стол неповторимым и станут для умирающих художников горьким напоминанием о руках, которые держали, рисовали, резались и пачкались. Стулья приготовились поддерживать увечных – подпирать какую-нибудь ногу в гипсе. И обещанные окна тут были – оба. В больнице окна в основном матовые – пленникам нечего смотреть наружу, а посторонним лучше не заглядывать внутрь. Но в окна студии, широкие и прозрачные, лилось солнце, будто тоже, как и я, радуясь, что оказалось в новом пространстве, куда прежде не попадало.

За учительским столом на фоне белой доски сидела женщина и тоже готовилась. В руке у нее была кисть, перед ней – черная грифельная табличка. На которую она пристально глядела. Почувствовав, что больше не одна, женщина вздрогнула и тут же засмеялась.

– Простите ради бога! Давно вы здесь?

– Мы не хотели вам мешать, просто пришли на занятия, – объяснила Новенькая Медсестра.

– Я Ленни, – сказала я.

– Привет! Я Пиппа.

Женщина пожала мне руку.

– Дальше сама, – шепнула я Новенькой Медсестре, она кивнула и ушла.

– Э-э-э... м-м-м... – Пиппа уставилась на дверь. – Она вернется?

– Не-а. Нам сказали, занятие идет целый час.

– Так и есть. – Она придвинула еще один стул к своему столу, чтобы я села рядом. – Но занятия начнутся только на следующей неделе.

Повисла пауза.

– Не страшно, – весело добавила Пиппа. – Зато ты можешь помочь мне вот с этим.

Как описать Пиппу? Она из тех, кто даст незнакомцу на вокзале 30 пенсов, чтобы тот мог сходить в туалет. Из тех, кто не боится дождя и обожает воскресное жаркое. Она похожа на человека, который мог бы держать, хоть на самом деле и не держит, собаку. Рыжую. Пиппа из тех, кто к торжеству мастерит самодельные серьги и, нарисовав уже сотни фантастических картин, не может их ни показать, ни продать, потому что никак не разберется с собственным сайтом.

Я села рядом с ней. В отверстие лежавшей на столе таблички была продета толстая веревка – только повесить осталось.

– Что это будет?

– Табличка на двери студии.

– Чего вы ждете?

– Вдохновения.

– И долго его обычно ждут?

– Ну... – она глянула на часы, – я пришла, только чтобы кисти заказать, и вот уже полтора часа здесь сижу

– Можно я?

Она поглядела на меня внимательно. Что высматривала, не знаю, но высмотрела, наверное, поскольку пододвинула табличку к моему краю стола и вручила мне кисть.

– Как называется это место?

– В том-то все и дело. Формально это кабинет В1.11.

– Поэтично.

– Вот именно, поэтому я и придумывала название.

– Какие-нибудь правила есть? – уточнила я.

Да нет, наверное, ответила она, и тогда я поднесла кисть к табличке и взялась за дело. А когда закончила, Пиппа нарисовала вокруг названия белые цветочки. Я наблюдала, как она рисует, и, заметив на рукаве ее кофты рыжую шерстинку, подумала, не от той ли это собаки, которой у нее нет.

– Неплохо, – сказала она, когда мы обе закончили. – Совсем неплохо.

К возвращению Новенькой Медсестры мы уже повесили табличку на дверь и поаплодировали только что обретшему имя кабинету арт-терапии больницы “Принсес-ройал” города Глазго.

Даже если Временная Сотрудница никогда не вернется, даже если много лет будет искать работу, даже если диплом ее окажется бесполезным и она никогда не будет заниматься искусством, пусть знает, что у нее здесь есть друг и она оставила в больнице свой след. Она создала Розовую комнату и тем заслужила признание.

Побег

Больничные день – и таков его нормальный режим – деформирован, искривлен, как соломинка под увеличительным стеклом. В одной части он больше, в другой меньше, разрознен и в то же время цел. Во внешнем мире день начинается с восходом солнца. А в больнице среди ночи может кипеть жизнь. Люди спят при свете дня, просыпаются в темноте, идут прогуляться, выпить кофе, тайком выкурить сигарету, и ради того лишь, чтобы обнаружить: они неправильно помнят, какой сегодня день, этот день давно прошел, а вообще сейчас полдесятого утра.

Сама же больница не спит вовсе. Свет в коридорах никогда не выключается – я это поняла, пробыв здесь несколько недель. Свет у главного входа – тоже, да и вообще везде. Время от времени, видимо, приходит уборщик и меняет лампочки, но свет горит неумолимо.

С двух часов я лежала без сна, а чувствовала себя так, будто день в самом разгаре. И никак не могла отделаться от одного воспоминания. Мне вспоминался рекламный ролик – я видела его по телевизору в гостинице, где-то в другой стране, языка которой не знала. Рекламировали каких-то организаторов приключений, и в этом ролике компания детей сплавлялась по порожиистой реке. На головах у них были оранжевые светоотражающие шлемы, они гребли по течению и визжали от восторга. Я пообещала себе, что однажды отправлюсь туда и тоже это сделаю.

В общем, я решила, что пора выполнить обещание, и отправилась в сплав по реке. Закрыв глаза, пошла босиком по резиновой траве к кромке воды. Влезла в надувную оранжевую лодку. Которую слегка покачивало, но инструктор заботливо ее придерживал. Я оттолкнулась от берега, стала грести. А когда лодка немного разогнала, опустила руку за борт и вела ее по прохладной воде. Вода брызнула мне на рукав – такая вдруг ледяная, но освежающая. Напрягая слух, я почти различала пение птиц за шумом стремнины.

Я гребла дальше вниз по реке, миновала скалу с хвойными деревьями на верхушке и тут поняла, что совсем одна. Я забыла представить рядом друзей и плыву теперь сама по себе, а творить кого-то из воздуха уже поздно.

Иногда в этих снах наяву я благополучно сплавлялась до самого конца реки. В другой раз выпадала из лодки, и тогда меня, случалось, спасал симпатичный инструктор по рафтингу. А бывало, ударялась головой об острый камень, медленно сползала в темную воду, и надо мной кружил кровавый водоворот.

В какой-то момент палату осветило восходящее солнце, и я услышала, что к Девочке в Углу пришли подруги. Пятеро, не меньше, и все они усвоили тот ласковый, тихий язык, который люди приберегают для мертвых и умирающих. Как ни старалась, я не могла отключиться от их голосов и сплавляться себе дальше по бурной реке. Но подумала, что оно, наверное, и к лучшему – я плавала уже несколько часов. Поаккуратней надо, а то сморщусь, как чернослив.

Они понимали все. Шутки у них были общие, истории общие. Они принесли подарки, заранее зная, какие ей понравятся. Делали с ней селфи. Они скучали по ней.

Не то что девчонки из моей второй школы в Глазго.

Они великодушно терпели меня, пока приходилось. Брали с собой гулять по ночам, пускали на свои вечеринки. Но они были не мои. А позаимствованные. *Я не* понимала их шуток, они не понимали моих. Я все время говорила что-то не то, хоть английский знаю хорошо. А когда перестала ходить в школу, никто не переживал.

Думаю, им полегчало.

Мне-то точно.

Я слушала подруг Девочки в Углу – они старались говорить без жалости в голосах, давали понять, что совместные развлечения, которые она пропускает, не так уж важны и не так уж забавны. Однако я уловила дрожь в ее голосе.

И попытавшись отгородиться от этой компании, стала разглядывать шторы вокруг своей постели. Кошмарные зеленые шторы. Но хотя они и в самом деле ужасны, вот что меня всегда веселит: для кого-то там, где-то там это идеальные больничные шторы. В обязанности этого кого-то входило заказать шторы для целой больницы, и он выбрал из каталога эти, получил одобрение. Заказ был размещен, материал отгружен, и натянутые зеленые шторы в клетку и синий цветочек с нечетным количеством лепестков украсили почти всю больницу, включая Мэй-урд.

– Ленни?

Шторка всколыхнулась – кто-то принял абсурдное решение в нее постучаться.

– Да?

– Ты не спишь?

– Как всегда.

– Ты в приличном виде? К тебе посетитель, – прошептала Новенькая Медсестра.

– В приличном, – ответила я, вытирая рот тыльной стороной ладони, а то вдруг слюни распустились.

Новенькая Медсестра отдернула штору, и я обнаружила с удивлением, что подруги Девочки в Углу уже ушли. Она осталась одна и лежала теперь, с головой накрывшись одеялом. Как это сладко и горько, должно быть, – иметь друзей.

Новенькая Медсестра вошла, а за ней – мой посетитель.

– Привет, – он положил руку на спинку кровати и тут же отнял, будто его ударило током. Не хотел показаться фамильярным, наверное.

– Все нормально, Ленни? – спросила Новенькая Медсестра.

Он смотрел на меня, я на него. Нормально ли?

Видимо, мне самой предстояло решить. Он, конечно, не компания подруг-ровесниц, с которыми я коротала бы время за болтовней, сплетнями и всякими глупостями, а с другой стороны, даже на моем мысленном плоту никаких подруг не было.

– Тогда я вернусь попозже, – сказала Новенькая Медсестра, но, прежде чем уйти, отдернула шторы, высвободив меня из уединенного клетчатого кокона и выставив всей палате на обозрение.

Отец Артур, неподвижный, будто статуя святого, так и стоял у спинки кровати.

– Садитесь, не стесняйтесь.

– Спасибо.

Он взял стул для посетителей, отодвинул от изголовья кровати – хотел сесть так, чтобы я видела его как следует.

– Ты в порядке? – спросил отец Артур, и я рассмеялась.

– Я... ты... не... – он прокашлялся и предпринял вторую попытку: – В часовне так тихо в последние дни.

Я кивнула.

– Мне не хватает твоих... – отец Артур подыскивал слово, но я не стала ему помогать.

– Как звали того дядьку из Библии, у которого было два сына, а он любил только одного?

– Что-что?

– Ну того, с двумя сыновьями. Один всегда слушается отца, а другой сбегает из дому. Но потом беглец возвращается, и отец любит его больше, чем хорошего сына.

– Ах да, притча о блудном сыне.

– Никогда понять этого не могла. Хороший сын поступает правильно и ничего не получает. Плохой сын заставляет родителей страдать и тревожиться, однако, возвратившись, получает все что хочет.

Отец Артур наморщил лоб, но ничего не сказал.

– Это лишь подтверждает, – продолжила я, – что беглецов любят.

– Правда?

– Ну конечно! Взять хотя бы нас с вами: я сбежала от вас, и вот вы здесь. А когда я каждый день приходила в часовню, и не думали меня навещать.

– Полагаю... – Он смотрел на меня пристально, словно пытаюсь точно высчитать, насколько я уже его простила и много ли еще осталось.

– Мне кажется, Ленни, это притча о задающих вопросы, такая в ней мораль. Лучше задавать вопросы и возвращаться к Богу, чем не иметь никаких вопросов и быть религиозным только на словах. – Он нахмурился, вздохнул, а потом вздохнул еще раз, будто первый вздох послужил лишь напоминанием о том, как приятно вздыхать. – Насчет Дерекка не предупредил, прости, – добавил отец Артур, помолчав. – Не ожидал, что ты так... расстроишься.

– Я и не расстроилась.

– Ну да. Разумеется.

– Я рассердилась.

– Ой! Я собирался сказать тебе про Дерекка и что уйду, я просто не...

– Он ведь дал кому-то рыбину?

– Дерек?

– Нет, отец блудного сына. Он ведь вручил хорошему сыну рыбину, а плохому – всю свою империю?

– Нет, по-моему...

– А по-моему, да. По-моему, так и было: хорошему сыну – рыбину, а беглецу – целую бизнес-империю.

– М-м-м...

– Ну же, отец Артур! Вам бы надо лучше ознакомиться с первоисточником. Блудный отец смотрит на вас с неба – в одной руке держит рыбину, другой обнимает сына-беглеца и удивляется, что это вы религию продаете, а о чем она рассказывает – не знает.

– Я ничего не продаю.

– А надо бы. Куда годится такая бизнес-модель – все даром раздавать?

Он рассмеялся, а потом улыбка стекла с его лица, будто вода.

– Поверь, я не хотел тебя обмануть. Или рассердить.

– Верю. Эй, это что, правда дня?

– Да.

– Мне нравится.

– Спасибо. Послушай, мне еще несколько месяцев предстоит отслужить в часовне, и я подумал...

– Так значит, полезно иногда убежать?

– У меня от тебя голова разболится.

– Сбежать. Хочешь сбежать – сбегай, и тебе воздастся – вот о чем сообщает нам блудный сын.

– Не уверен, что...

– Отец Артур?

– Что, Ленни?

– Мне надо убежать кой-куда.

Есть различия между “сбежать” и “убежать”. Море различий, но никто о них и знать не хочет. Будешь, говорят, и дальше сбегать – ограничим количество посетителей. Только это их интересует. Но разве можно сбежать, не выходя из больницы? А я не выхожу.

На самом-то деле убежать от отца Артура я не могла – бедро, пострадавшее в столкновении с Временной Сотрудницей, еще болело. Поэтому, сунув ноги в Обычные Повседневные тапочки, я тихонько поковыляла к месту назначения. Отец Артур не пустился в погоню, проявив великодушие, ведь ходил он уж наверное быстрее, чем я, и догнать меня, не дав даже выйти из палаты, ему было неловко.

Империю я не хотела и с отцом Артуром с удовольствием поговорила бы еще, но убежала все равно, просто потому, что стремилась в другое место.

Заглянув через окошечко в двери в Розовую комнату, я увидела Пиппу, которая, держа на весу лист бумаги, объясняла что-то пожилой аудитории из трех человек. Она указала пальцем на край полотна, а потом резким, размашистым движением опустила ладонь вниз. Закончив объяснять, отложила бумагу, и тут только махнула мне рукой и поманила внутрь.

Я вошла, еле ноги волоча, и почувствовала, что все взгляды устремились на меня и мою розовую пижаму. Надо было все-таки Лучшие Воскресные тапочки обуть.

– Ленни, привет!

– Привет, Пиппа!

– Что это тебя привело?

Я попыталась сформулировать, что именно меня привело. Один человек, умерший давным-давно, и два его неодинаково любимых сына. Рыбина. Священник. Непреодолимое желание делать что-нибудь еще, а не только сплавляться мысленно по реке... Аудитории гериатрического профиля все это вряд ли показалось бы вразумительным.

– Порисовать хочешь? – спросила Пиппа.

Я кивнула.

– Бери стул, а я принесу бумагу. На этой неделе тема – звезды.

Я оглянулась в поисках места, а она тут как тут. Сидит себе сзади на столе, в стороне от всех. Одета в темно-фиолетовую кофту, волосы, стальные как десятипенсовик, поблескивают на солнце, глаза устремлены на лист бумаги, где она рисует что-то там кусочком угля. Лилово-розовая злодейка, сиреневоголубая преступница. Старушка, укравшая нечто из мусорного ведра.

– Вы! – воскликнула я.

Она оторвалась от рисунка, подняла голову и одно кратчайшее мгновение рассматривала меня, наводя резкость. Потом узнала и обрадовалась:

– Ты!

Ленни и Марго

Я подковыляла к ее столу.

– Меня зовут Ленни.

И протянула руку.

Она отложила кусочек угля, пожала мне руку.

– Рада познакомиться, Ленни. Я Марго.

Ее перепачканные углем пальцы отпечатались на тыльной стороне моей ладони.

– Спасибо, – сказала она. – Ты мне очень помогла.

– Пожалуйста. Я не сделала ничего особенного.

– Нет, кое-что ты сделала. Сделала. Хотелось бы отблагодарить тебя как следует, но теперь у меня за душой лишь пара пижам да недоеденный кекс.

Она показала рукой – присядь, мол, – и спросила:

– Как ты тут оказалась?

Она имела в виду Розовую комнату, конечно, но я считаю, что прямога лучше всего, поэтому сказала правду:

– Говорят, я умираю.

Повисла пауза – Марго глядела на меня изучающе. Не поверила как будто.

– Заболевание, ограничивающее продолжительность жизни, – пояснила я.

– Но ты такая...

– Юная, да-да.

– Нет, ты такая...

– Невезучая?

– Нет. – Она все еще смотрела на меня недоверчиво. – Ты такая живая.

Подошла Пиппа, положила нам на стол кисточки.

– И о чем мы тут беседуем?

– О смерти, – ответила я.

Увидев, какая складка образовалась на лбу у Ниппы при этом слове, я подумала, что ей бы надо взять выходные и сходить на курсы, где учат обходиться с мертвыми и умирающими. Долго она в больнице не проработает, если даже слышать этого слова не может. Пиппа присела на корточки у стола, взяла кисть.

– Обширная тема, – сказала она наконец.

– Ничего, – ответила я. – Я целыми днями прохожу семь стадий принятия неизбежного и научилась делать это одним махом.

Пиппа прижала сухую кисть к столешнице, и щетинки, сложившись веером, образовали идеальную окружность.

Однажды в начальной школе, еще в Эребру, я оторвала нечаянно краешек страницы из учебника. Мы с одним мальчиком – не помню, как его звали, – листали учебник наперегонки. Я старалась листать быстро-быстро и оторвала краешек страницы. Классная руководительница накричала на меня и, не увидев, наверное, должного раскаяния, отправила в кабинет директора. Я шла туда как в полицейский участок. И не сомневалась, что родителям теперь обо всем расскажут, что дела мои плохи и лучше уже не станут. У меня вспотели ладони. Даже передвигаясь по коридору, когда все сидят в классе, я, казалось, нарушаю правила, нахожусь там, где не следует.

Директриса была крепкой женщиной с серебристыми, как лед, волосами и вечно поджатыми губами, покрашенными жирной помадой. Я представляла, как она кричит на меня, и изо всех сил старалась не заплакать. Когда я пришла к ней в кабинет, оказалось, что директриса на

собрании, и секретарша велела садиться на зеленый стул у двери и ждать. На стуле слева уже сидел мальчик на несколько лет старше меня по имени Лукас Найберг.

– Что, неприятности? – спросил он (по-шведски, разумеется).

– Да, – ответила я, почувствовав, как задрожал подбородок.

– У меня тоже, – сказал он. И похлопал рукой по сиденью стоявшего рядом стула. Кажется, он не напуган и не расстроен, что сидит тут, у дверей директорского кабинета, как арестованный. Скорее наоборот – горд собой.

Почувствовав облегчение, я села рядом. Неприятности были не у меня одной, и это утешало. Лукас разделил мою судьбу, а вместе иметь с ней дело уже не так страшно.

И то же самое я ощутила, когда Марго решила нарушить молчание и, наклонившись ко мне, прошептала:

– Я тоже умираю.

Мгновение я смотрела в ярко-голубые глаза Марго, думая, что мы, как видно, станем сокамерницами.

– Если поразмыслить, – сказала Пиппа, отложив наконец кисточку, – ты вовсе не умираешь.

– Не умираю?

– Нет.

– Может, я тогда домой пойду?

– Ты не умираешь прямо сейчас, я имею в виду. Прямо сейчас ты очень даже живешь.

Мы с Марго смотрели на Пиппу, а та пыталась объяснить.

– Твое сердце бьется, глаза видят, уши слышат. Ты сидишь в этой комнате, вполне живая.

А значит, ты не умираешь. Ты живешь. – Она присоединила и Марго: – Вы обе.

Железная логика и в то же время – никакой.

Итак, мы с Марго, вполне живые, сидели в тиши Розовой комнаты и рисовали звезды. На маленьких квадратных полотнах. Я забыла нарисовать рамку на своем – буду потом досадовать, когда Пиппа повесит их на стену. Марго изобразила звезду на чернильно-синем фоне, я – на черном. Ее звезда была симметричной, моя нет. И там, в тишине, пока она аккуратно обводила свою желтую звезду золотым, я испытала чувство, какого ни с кем еще не испытывала. Что времени у меня сколько угодно. Не нужно торопиться о чем-то говорить, можно просто быть рядом и все.

В детстве я любила рисовать. У меня была старая жестянка из-под детского питания с цветными мелками и пластмассовый столик. И каким бы ужасным ни вышел рисунок, я всегда писала в уголке свое имя и возраст. Мы с классом ходили в картинную галерею, и учительница указывала на фамилии авторов в нижних уголках гравюр. Я считала, что очень талантлива и мои рисунки однажды могут тоже выставить в галерею. Поэтому нужно обозначить имя и дату. Тот факт, что мне было всего пять лет и три месяца, когда я нетвердой рукой срисовала далматинца с обложки видеокассеты, заставит мир искусства еще больше восхищаться моим талантом. Зайдет разговор о знаменитых художниках, только лет в двадцать-тридцать вполне овладевших своим талантом, и кто-нибудь скажет: “А ведь Ленни Петтерсон написала эту картину всего в пять лет и три месяца – непостижимо, уже тогда она была способна на такое!” В память о собственном тщеславии я, взяв самую тонкую кисть, какую смогла найти, вывела желтой краской под нарисованной звездой: “Ленни, 17 лет”. Посмотрев на меня, Марго сделала то же самое. “Марго, – написала она, – 83 года”. А потом мы поместили их рядом – две звезды на фоне тьмы.

Я не придаю большого значения числам. Не делю в столбик, не высчитываю проценты. Не имею понятия, какой у меня рост и вес, не помню папин номер телефона, а ведь раньше знала. Предпочитаю слова. Вкусные, дивные слова.

Но два числа, оказавшихся передо мной теперь, имели значение и будут иметь – до конца моих считанных дней.

– Нам на двоих, – сказала я тихо, – сто лет.

Ленни знакомится со сверстниками

Через несколько дней на моей прикроватной тумбочке появился ломтик кекса.

Вообще-то я не большой любитель кексов. Когда изюм лопается во рту, кажется, что ешь мокрицу. Сначала он твердый, а раскусишь – изнутри брызнет сладкая жидкость и только кожистая оболочка останется.

Но бесплатный кекс – это бесплатный кекс.

Я ела и думала о Марго.

Мы прожили сто лет на двоих. По-моему, неплохой результат.

В тот самый момент на уроке рисования я заметила Новенькую Медсестру – краснея, она пробралась в Розовую комнату, у входа нечаянно врезавшись бедром в стол. Сказала шепотом, что пришла, мол, в мою кабинку, а там отец Артур сидит один. Что в принципе мне в Розовой комнате находиться не положено и, если я не вернусь сейчас же, у меня – в принципе – могут быть неприятности. Так мило. Джеки наорет – вот что Новенькая Медсестра называет неприятностями. Совсем иначе понимает неприятности тот, кто ходит в пижаме среди бела дня и дает имя пластиковой трубке, через которую обедает внутривенно. Вот настоящие неприятности. И они у меня уже есть.

Но все же я пошла с ней. Всегда лучше уйти раньше, чем захочется. И отделалась маленькими неприятностями. Все внимательно выслушала и пообещала Джеки, что больше не буду никуда пропадать. Или попадать. Четко никто не сказал.

Не успела я смахнуть с одеяла последние крошки кекса, как шторка у моей постели отдернулась.

– Доброе утро, Ленни! – с улыбкой поприветствовал меня Уборщик Пол. – Больше пауков не видала?

Я ответила “нет”, и тогда он указал на тумбочку.

– Все эти тумбочки заменят в ближайшие месяцы – уж больно неустойчивые.

Я молча кивнула, не поддержав эту скучную тему.

– Можно? – спросил он.

И потянул на себя верхний ящик. Потянул сильнее, потом потряс. Желтые шелковые розы, подаренные Временной Сотрудницей, сплясали джиттербаг. Наконец, взявшись обеими руками, Уборщик Пол все-таки открыл ящик, из которого тут же выпорхнул листок бумаги.

– Любовное письмо? – спросил Пол.

– Не иначе. Положу к остальным.

Не сумев скрыть, что он думает по этому поводу – все было написано на его лице, – Пол поднял листок и протянул мне.

Прощение: свет Господень – гласила витая надпись над пиксельным снимком голубя на фоне облаков, пронзенных солнечным лучом. Под ней напечатано было расписание служб, а еще ниже – нацарапано синей авторучкой:

Ленни, предваряя твой вопрос, скажу, что эту брошюру о прощении не специально для тебя печатал. Просто совпадение. Если захочешь поговорить, я всегда готов.

Артур

Даже адрес его электронной почты выглядел трагично: *artburhospitalcbaplainj 16@gpr.nbs.uk*.

Подняв глаза, я увидела, что Пол улыбается. Будь я лет на десять старше и не обрати внимания на его кривые татуировки, мы с Уборщиком Полом могли бы стать прекрасной парой.

Странной, конечно, но хорошей. Встречая такие пары, думаешь: и как только они сошлись? Он затолкнул ящик обратно, сделал пометку на своем планшете, вздохнул. И сказал:

– Береги себя, ага?

Будто это хоть в какой-то мере зависело от меня.

В тот день, а может, через несколько недель – кто скажет наверняка? – явилась Новенькая Медсестра, чтобы повести меня в мой первый запланированный и абсолютно легитимный поход в Розовую комнату. Там мне предстояло встретиться с ребятами моего возраста – сверстниками, как сказала Пиппа. Я не знала толком, что это значит, но представляла людей повыше себя, поважней или покруче, которые долго будут сверять меня с чем-то, разглядывая сверху.

Розовая комната была почти пуста, когда я пришла, небо за окном – бесцветно. Не серое, но и не белое – нечто неразборчивое нависло над нами.

– Добрый день всем! – поздоровалась Пиппа и украдкой улыбнулась мне, когда я уселась одна за стол, где сидела обычно. – Меня зовут Пиппа, а это Розовая комната. Правила очень простые: пролил что-нибудь – пожалуйста, вытри, не отлынивай и не устраивай балаган. Рисуйте что хотите, но я могу подсказать кой-какие идеи для вдохновения, а иногда придумываю темы. На этой неделе, например, тема – листья. – Она показала корзинку с бурыми листьями. – Если плохо себя чувствуете или вам нужен врач, пожалуйста, скажите мне, и... м-м-м... в общем-то всё?

Была у Пиппы привычка любую фразу заканчивать с вопросительной интонацией. Хотелось даже как-то придать ей уверенности.

На этот раз в классе кроме меня было только три человека. И только я одна – в пижаме.

За столом у окна сидели две девчонки примерно моего возраста в нормальной выходной одежде, ярко накрашенные, и смеялись над чем-то, глядя в телефон той, что поярче. А напротив них – крепкий мальчишка постарше в спортивках и футболке под цвет – неопрятных, но недешевых, похоже. Загипсованную ногу он положил на соседний стул. На гипсе кто-то нарисовал черным маркером большущий пенис.

Пиппа попросила девчонок убрать телефоны. Те положили телефоны экранами вниз, но убрать не убрали. А на листья и краски, которые Пиппа положила им на стол, даже не взглянули.

Пиппа и мальчишке протянула лист, но он помотал головой, вынул из кармана шариковую ручку и стал рисовать.

Наконец Пиппа подошла ко мне:

– Лист?

Я кивнула, и она положила лист передо мной. Я стала разглядывать эту хрупкую сущность, поворачивать одной стороной, потом другой, думая, какую бы нарисовать, и тут поняла, что Пиппа так и не ушла.

Она сказала мне что-то одними губами.

– Что? – переспросила я.

Она подалась вперед и повторила. Мне послышалась какая-то чушь.

– Что? – спросила я опять.

– Поговори с ними, – шепнула Пиппа.

Потом пошла к своему столу и чем-то там занялась. Я поглядела на сверстников. Девчонки опять взяли телефоны и фотографировались, взяв кисти в руки и улыбаясь во весь рот. Мальчишка так яростно штриховал шариковой ручкой, что бумагу пером проткнул. Если я правильно разглядела, он рисовал кинжал.

Я опять перевела глаза на Пиппу. А она так старалась ободрить меня одним взглядом, что больно было смотреть.

– Как ты ногу сломал? – спросила я.

Мои слова осели где-то между нашими столами. Никто и не заметил, что они проделали этот путь.

Я снова глянула на Пиппу.

Она кивнула: попробуй, мол, еще.

Я попробовала. На сей раз они меня точно услышали, но за этим ничего не последовало. В конце концов девчонка поярче постучала пальцем по рисунку мальчишки.

– Чего? – спросил тот.

– По-моему, она к тебе обращается. – Девчонка указала в мою сторону, явно испытывая неловкость за меня, – таким же тоном говорили когда-то мои одноклассницы. Я, бывало, скажу что-нибудь вполне понятное и очень даже смешное, а они смотрят на меня смущенно. И мы переживаем неловкую паузу.

Мальчишка повернулся, и все трое уставились на меня.

– Что? – спросил он.

– Как ты, говорю, ногу сломал?

– Регби, – мальчишка отвернулся и стал раскрашивать свой кинжал дальше.

– А где ты играешь? – спросила менее яркая девчонка.

– В “Сент-Джеймсе”.

– Мой парень тоже там играет – недавно начал.

– Да ладно! Как его зовут?

Ко всеобщей великой радости выяснилось, что у регбиста есть в команде любимые новички и парень этой девчонки – один из них. Само собой, им нужно было сфотографироваться всем вместе, запостить фото и подписать – для парня: “Смотри, кого мы встретили!”

Потом от этого радостного открытия они как-то перешли к новому сериалу “Нетфликса”, который смотрели все. Мальчишка уже видел второй сезон, просочившийся в сеть, и девчонка поярче, взвизгнув, заткнула уши указательными пальцами – не хотела спойлеров. Но регбист твердо решил рассказать девчонкам о персонаже, чья смерть буквально свела их с ума. На меня эти трое больше не оглядывались.

Я взяла карандаш и написала на листе бумаги большими буквами: ЧЕРТ.

Пиппа подошла ко мне, села на стул Марго.

– Если скажете, что надо подсесть к ним и попробовать еще раз, я закричу.

Пиппа сникла – очевидно, именно это она и собиралась предложить.

Я положила голову на стол.

– Что такое? – спросила Пиппа осторожно.

Открыв глаза, но не поднимая головы, я разглядывала ярких девчонок, перевернутых вверх тормашками, которые безудержно хохотали над какой-то шуткой мальчишки, а он тем временем штамповал кисточкой зеленые пятна вокруг своего кинжала.

– У них столько времени!

– Так...

– А у меня нет.

Пиппа не знала, как мне и в глаза посмотреть.

– Я не для того это говорю, чтобы вас расстроить. Просто хочу, чтобы вы поняли мои чувства. Мне срочно нужно веселиться.

– Срочно нужно веселиться?

– Да. Мне нужно веселиться. И это срочно.

– Хорошо, – сказала она наконец, – чем я могу помочь?

– Помните, я как-то пришла в неподобающее время?

– Ну да.

– Здесь еще были старички.

– Группа старше восьмидесяти, да-да...

- И я познакомилась с Марго.
- Ну да.
- Переведите меня в эту группу, пожалуйста.
- В группу старше восьмидесяти.
- Но Ленни, в ней занимаются люди от восьмидесяти и старше.
- Да. Я понимаю.
- Нелогично, стало быть, переводить тебя в эту группу.
- Почему?
- Потому что тебе не восемьдесят!
- А если не считать этого?
- Просто мы решили работать по такому принципу, чтобы занятия соответствовали интересам и способностям людей.
- По-моему, это возрастная дискриминация.
- Я подождала. Видно было, что она колеблется.
- Обещаю хорошо себя вести.
- Пиппа улыбнулась.
- Подумаю, что тут можно сделать.

Семнадцать

Уборщик Пол отдернул шторку, и старушка в лиловой пижаме, оторвавшись от журнала “Отдохни”, резко спросила:

– Вы кто?

Вовсе не обрадовавшись, кажется, этой передышке от отдыха.

– Это не она, – шепнула я Полу.

– Простите! – весело извинился Пол перед сердитой старушкой. – Мы кое-кого ищем.

Та что-то пробурчала. Пол задернул шторку вокруг ее постели обратно, будто пряча нежеланный приз в телеигре “Цена верна”.

А когда отдернул другую шторку, за ней обнаружилась другая старушка в лиловой пижаме – она спала с легкой улыбкой на губах, а на прикроватной тумбочке лежал в бумажной тарелке недоеденный ломтик кекса.

– А вот это она.

– Стул принести? – спросил Пол и, не дожидаясь ответа, потащил из другого конца палаты пластиковый стул, предназначенный для посетителей. Звук скребущих по линолеуму ножек не разбудил ее, зато разбудил возглас Пола: “Пока!”

Марго открыла глаза.

– Ленни?

Она улыбнулась, будто видела меня во сне и теперь припоминала.

У нее на тумбочке лежала стопка книг в твердой обложке. Между двумя верхними торчал открытый конверт, из которого – я точно видела – на меня выглядывало письмо. На маркерной дощечке над головой Марго – почерком с сильным наклоном влево – было написано ее имя. *Марго Макрей.*

Я слышала приглушенные голоса снаружи, за шторкой, из радиоприемника сквозь помехи звучала тихая классическая музыка. В зазор между шторками мы видели высокую седую женщину с пучком на голове, торчавшим из-под ободка. На верхнем кармане ее бордового халата были вышиты золотой нитью инициалы “У. С.” Опираясь на ходунки, женщина продвигалась к выходу из палаты. Пигментные пятна на лице делали ее похожей на пегую скаковую лошадь, но очень неспешную.

– Какой вы были в моем возрасте? – спросила я Марго.

– В семнадцать лет?

Я кивнула.

– Хм... – Марго сощурилась, словно где-то между ее разомкнутыми и сомкнутыми веками жили картины далекого прошлого, и если правильно свести ресницы, она сможет увидеть саму себя.

– Марго?

– Да, милая?

– Вы сказали, что умираете.

– Умираю, – ответила она так, будто дала обещание и гордится, что держит его.

– И вам не страшно?

Тут Марго посмотрела на меня, ее голубые глаза чуть заметно двигались вправо-влево, словно читая мое лицо. Шум помех стих, теперь звучала только тихая колыбельная.

А потом Марго сделала нечто удивительное. Потянулась ко мне и взяла меня за руку.

А потом стала рассказывать.

Глазго, январь 1948 года

Марго Макрей 17 лет

В мой семнадцатый день рождения бабушка, которую я любила меньше всех, придвинувшись ко мне нос к носу, спросила: а ухажер-то у тебя есть? Она была так близко, что я разглядела темно-лиловое пятно у нее на нижней губе. Я всегда думала, это помада размазалась, но теперь, вблизи, увидела нечто другое. Сине-фиолетовое, похожее на камешек, утопленный под кожу. Я задумалась, можно ли найти доктора, который согласится это выскоблить, просто чтобы рассмотреть.

Разочарованная ответом, она откинулась на спинку стула, стерла пальцем кусочек глазури с ножа, которым резали торт, и отправила себе в рот. Надо бы тебе поторопиться, сказала она. Мужчин теперь меньше, чем женщин, и “хорошенькие всех разберут”.

Через неделю бабушка объявила, что устроила мне свидание с симпатичным молодым человеком из прихожан. Мне незнакомым, разумеется, ведь мы с матерью “никогда не посещали дом Божий”. Я должна была встретиться с ним на Центральном вокзале Глазго под большими часами ровно в полдень.

Этот диалог я пересказала своей лучшей (и единственной) подруге Кристабель, пока мы бежали по улице от моего дома к вокзалу.

Она сморщилась, и веснушки на ее лице, сдвинувшись, образовали новые созвездия.

– Но мы никогда не разговаривали с парнями, – сказала Кристабель.

– Ну да.

– Так что ты собираешься ему сказать?

Я как-то не подумала об этом и теперь остановилась. Кристабель остановилась тоже, шелестнув розовой юбкой. Не знаю, зачем и она разоделась, на свидание-то шла я. Меня бабушка втиснула в накрахмаленное цветастое платье и остроносые черные туфли, давившие на пальцы. Я чувствовала себя ребенком, нарядившимся забавы ради во взрослого. Повесив мне на шею золотой крестик, бабушка велела “хотя бы выглядеть христианкой”. Что это значило, я понятия не имела.

– Ты сейчас, может, с будущим мужем познакомишься. – Кристабель нагнулась, натянула левый гольф повыше, на тощую коленку. Один гольф все равно был короче другого, но она выпрямилась, довольная, и взяла меня под руку. – Так волнующе, правда?

И хотя от этих слов скрутило живот, я покорно шла за Кристабель, тянувшей меня к вокзалу.

В 11.55 я стояла под часами и смотрела на Кристабель, а та пряталась за стеной газетного киоска. Не знаю, почему она пряталась, – никто ведь ее не искал. Натягивая правый гольф, Кристабель врезалась в старика с горбом впечатляющих размеров. Тот замахнулся на нее тростью, и я рассмеялась.

В последующие пятнадцать минут возбуждение на веснушчатом лице Кристабель сменилось нетерпением, а потом и жалостью. Она стояла в другом конце вокзала, кусая нижнюю губу, как делала очень часто. И оттого на этой самой губе образовались две маленькие бороздки. В четверть первого мне уже ясно стало, что он не придет. Ладони вспотели. Казалось, все глаза устремлены на меня в этом неудобном платье. Хотелось плакать. Хотелось пойти домой. Но я будто приросла к месту и не могла пошевелиться, не могла послушаться, ведь мне велели стоять под часами и ждать.

Я искала глазами Кристабель, но она тоже куда-то подевалась. Тут-то и потекли слезы. Я стояла и смотрела на сновавших по вокзалу людей с пальто и чемоданами в руках. Кое-кто обращал внимание на плакавшую под часами девушку в цветастом платье и без пальто, но большинство прохожих безучастно спешили мимо.

Вдруг я почувствовала чью-то руку на своем плече и вздрогнула, представив на мгновение, что сейчас увижу лицо незнакомого юноши-христианина. Но увидела Кристабель. Она стояла рядом, оглядывая вокзал.

– Ты никогда не думала, – сказала Кристабель, все еще обнимая меня за плечо, – что твоего суженого могли убить на войне?

Я спросила, о чем это она.

– Ну допустим, жил на свете парень, который идеально тебе подходил, и ты должна была однажды встретить его и полюбить. Но он ушел на фронт, погиб в окопах Франции, и теперь вы уж никогда не встретитесь.

– Так ты обо мне думаешь? Что я никогда не встречу любимого?

– Не о тебе лично, обо всех. Я думаю обо всех тех, кого мы никогда не узнаем.

– Утешила, нечего сказать.

Кристабель рассмеялась и протянула мне два билета до Эдинбурга.

– Поедем в зоопарк. Хочу посмотреть на медведя-солдата Войтека.

Она взяла меня за руку, повела к платформе, и мы сели в поезд на 12.36 до Эдинбурга.

Народу в вагоне было много, и мы заняли места напротив молодого человека в костюме. Выглядел он лет на двадцать пять и, кажется, не замечал нас, пока подол розового платья Кристабель, многослойного и похожего на суфле, не коснулся его ног. Тогда он, удивившись, поднял глаза.

Кристабель подобрала подол под себя, однако – и за это я возблагодарила судьбу – гольфы подтягивать не стала.

– Симпатичное платье, – сказал молодой человек, и лицо Кристабель заалело.

А я молча его рассматривала. Он был худощавый и, как мне показалось, высокий, если встанет во весь рост. Белую рубашку, похоже, не в первый раз за неделю надел, зато волосы аккуратно зачесал набок и густо смазал кремом.

Наши глаза встретились.

– Мы едем в Эдинбург, – сообщила ободренная комплиментом Кристабель.

– Я тоже, – он показал билет с таким видом, будто выиграл в бинго, первым закрыв ряд.

– Я везу ее в зоопарк, – добавила Кристабель, – чтобы развеселить.

– А почему вас нужно веселить? – спросил он меня, но ответить поспешила Кристабель.

– У Марго было назначено свидание, но он не пришел.

– Вас зовут Марго? – спросил молодой человек, слегка улыбнувшись.

Я кивнула и вспыхнула.

– Ты сейчас говорила – ведь правда, Марго, – что, может, никогда не встретишь того, кого полюбишь.

– Я мог бы вас полюбить, если хотите, – сказал он тихо, не сводя с меня глаз.

Предложил свою любовь, как леденцы от кашля. Словно это пустяк.

У кровати стоял медбрат и смотрел на нас, прищурившись. Похоже, давно уже стоял.

Марго закатала лиловый рукав, вытянула руку.

– Это от тошноты, – сказал он мягко, сдернул колпачок с иглы и погрузил ее в предплечье Марго.

– Ох! – Она прикрыла глаза, вдохнула, стиснув зубы.

– Готово. – Медбрат приклеил кружочек пластыря Марго на руку, помог ей опустить рукав и обратился ко мне: – Время посещения почти закончилось. Позвать кого-нибудь проводить вас?

– Нет-нет, все в порядке, – улыбнулась я.

А как только он ушел, повернулась к Марго:

– И что было дальше?

– Продолжить придется в следующий раз. – Она указала мне за спину.

У спинки кровати стояла Новенькая Медсестра.

– Вот ты где!

Лицо ее выражало нечто среднее между радостью и досадой.
Мы шли по коридору обратно в Мэй-урд, и я спросила Новенькую Медсестру:
– Какой ты была в семнадцать лет?
Она остановилась, подумала немного, а потом, улыбнувшись, сказала:
– Пьяной.

Ночью, в тот час, когда я обычно сплавлялась по бурной реке в компании симпатичного инструктора, который приобрел недавно пляжные шорты, меня вдруг куда-то повлекло. Не течение, а Марго. Я не пошла к поросшему травой холмику у края воды и греться на солнце, лежа в лодке, не стала. Вместо этого прогулялась до вокзала Глазго и села в поезд на 12.36 до Эдинбурга. Там увидела симпатичную девушку в платье с цветочками, худощавого мужчину и начало чего-то.

А потом, по пути к Эдинбургу, заснула, впервые за много лет.

Ленни и Марго счастливы

Мой первый день в рядах восьмидесятилетних был полон сюрпризов. Ноги устали не больше обычного, голова не поседела. Мне еще предстояло полюбить запах лаванды, я не носила носовых платочков в рукаве. В жизни не обедала в кафе “Маркс энд Спенсер” и не показывала незнакомцам в автобусе фотографии внуков. Однако же сидела среди своих восьмидесятилетних одноклассников в Розовой комнате, приготовившись рисовать.

Пиппа снова переставила столы, на этот раз сгруппировав их по четыре. Я сидела рядом с Марго, напротив – Уолтер, садовник на пенсии, седой и румяный, как садовый гном, и Элси с короткостриженными серебристыми волосами, в черной шали из пашмины, изящно наброшенной на плечи, – ни дать ни взять, редактор модного французского журнала.

В четверке за соседним столом я видела наших соперников, ведь там сидели настоящие восьмидесятилетние, одетые в практичные пижамы разных пастельных тонов, тогда как у нас за столом собрались гном, редактор журнала, липовая восьмидесятилетняя и Марго. Если будет соревнование – а я очень на это надеялась, – мы, без сомнения, победим.

За окном темнела мокрая больничная парковка, вялый дождик моросил на людей, бежавших, пригибая головы, к паркоматам и защищавшихся зонтами от неуловимого ливня. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз была под дождем. И задумалась на секунду, удастся ли уговорить Новенькую Медсестру вывести меня на парковку, когда дождь начнется в следующий раз, а еще лучше, если мы пойдем в душевую, я останусь в одежде, а она будет изображать дождь – поливать меня, может, даже из двух леек сразу, сделав самый слабый напор.

– Мне бы хотелось, – сказала Пиппа, закатывая рукава цветастой блузки, – чтобы сегодня мы с вами подумали о счастье и изобразили – кистью или карандашами – мгновения наших счастливых воспоминаний. Сначала расскажу о своем. – Она присела было на край стола, но быстро встала – стол оказался высоковат. – Я очень люблю вспоминать, как мы гуляли однажды с моей семьей и нашим старым псом. Это было где-то перед Пасхой, но день выдался на удивление жаркий. Дедушка тоже гулял с нами – мы шли все вместе по залитой солнцем проселочной дороге.

– Так и знала, что вы собачница! – выпалила я неожиданно для самой себя.

Заулыбавшись, Пиппа щелкнула колпачком маркера.

– Так вот, – продолжила она, – из этого воспоминания я могу изобразить, например, ряд деревьев вдоль проселочной дороги. С людьми сложнее, поэтому, если хотите закончить картину сегодня, за людей братья не советую, зато можно нарисовать лучи солнца, прорезающие листву.

Она говорила и одновременно делала набросок – просто рисунок на маркерной доске, а все равно вышло здорово.

– А если вас больше интересуют предметы, можно изобразить поводок нашего старого пса и даже его затылок – пожалуй, будет неплохо.

Пиппа сделала рядом с первым наброском второй: рука с поводком, затылок пса и мохнатые уши. Казалось, она мне голову морочит. Ее наброски были так хороши, я в жизни ничего подобного не нарисую.

– Я записала диск на тему этой недели. – Пиппа включила CD-плеер. Преодолевший барьеры пространства и времени голос Джуди Гарленд, поющей “Ну будь же счастлив!”, зазвучал у нас в ушах.

Увидев, что все вокруг принялись рисовать, я ощутила жар в груди.

Уолтер взял карандаш и принялся за эскиз. Да, у него были руки садовника. Обвисшая кожа на суставе указательного пальца. Зеленые пятна под ногтями. Наморщив лоб, Уолтер с нажимом водил карандашом по бумаге. Какое, интересно, самое счастливое воспоминание он

рисует? Может, день, когда загадал желание и превратился из садового гнома в человека. Элси рисовала черной краской длинные полосы. Марго же так легко водила карандашом по бумаге, что получался не рисунок даже, а призрак рисунка.

А мое полотно оставалось белым. Я не знала, что рисовать. Когда все вокруг успешно справляются с заданием, а ты нет, чувство возникает хуже некуда. Места себе не находишь, прямо как в школе.

Сначала Марго изобразила глаз – невероятно живой. Прозрачный и в то же время будто бы сияющий. Меня не рассердило, что она так хорошо рисует, – я смотрела как зачарованная. Марго запечатлевала то, а верней того, кого за восемьдесят три года жизни была счастлива видеть больше всех.

Затем появились ручонки – одна свернута в кулачок, другая разжата и протянута к нам.

Животик был прикрыт одеялом, а из-под желтой шапки торчали волосенки. Нос пуговкой тоже получился совсем как настоящий – не верилось даже, что Марго рисует по памяти. Она глядела на рисунок ласково, будто этот малыш лежал перед ней на столе, гукал, брыкался, смотрел на нее изучающе большими глазами, а она смотрела на него.

Марго закончила – вышло бесподобно. Только цветные карандаши – и все; она подрумянила щеки, затушевала одеяло нежно-голубым.

Потом отложила карандаш и смахнула, не думая, наверное, что я вижу, слезу с нижних ресниц.

– Это мальчик? – спросила я.

Она кивнула.

– Как его зовут?

– Дэйви.

В комнату ворвался “Счастливый” Фаррелла Уильямса, и я взялась за кисть. Позже я узнала, что это принципиальная ошибка – работать красками, не сделав прежде набросок карандашом. Но мне было все равно. Я вспомнила нечто счастливое и должна была это запечатлеть.

Я рисовала возникшее передо мной воспоминание и рассказывала Марго историю.

Эребру, Швеция, и января 1998 года

Ленни Петтерсон один год

В это воспоминание я возвращаюсь часто.

Мой первый день рождения. Мама заплела мне волосенки, закрепила на макушке заколкой с Минни Маус. Я вижу это не сама, а через видеокамеру, которая обрамляет в кадр мое лицо, а я тем временем показываю пальцем на людей и предметы и издаю нечленораздельные звуки, пока еще не слова.

Я сижу у отца на коленях и смотрю на него, задрав голову, как на луну. Он беседует с неизвестным, который снимает на камеру, и одновременно раскачивает меня на ноге из стороны в сторону – я пофыркиваю от удовольствия, а он надо мной смеется. Затем поворачивается ко мне, говорит что-то – в записи его слов не разобрать, – а я в ответ, показывая на стол, кричу: “Дя!”

Дневной свет еще льется в окна, но кто-то гасит люстру, и светящийся торт с единственной свечой движется из кухни в гостиную, озаряя лицо мамы. Она ставит торт на стол передо мной и целует меня в макушку. Потом отходит, встает позади нас с отцом, будто бы не совсем понимая, что делать дальше. Говорит мне одними губами: “С днем рождения, Ленни!” – на английском, а его мама использует лишь в случае крайней необходимости. Отец держит меня за руки, чтобы я не обожглась, дотянувшись до свечи.

В этом месте запись обычно заедает, как раз когда все хором начинают петь.

*Ja, må hon leva!
Ja, må hon leva!
Ja, må hon leva uti hundra år!
Javisst ska hon leva!
Javisst ska hon leva!
Javisst ska hon leva uti hundra år!*

Что означает:

*Пусть живет она!
Пусть живет она!
Пусть живет она сто лет!
Будет жить она!
Будет жить она!
Будет жить она сто лет!*

Повзрослев, я поняла смысл этой песни, которую в Швеции поют именинникам, и с тех пор она наводила на меня грусть. Я не знала ни одного человека, дожившего до ста, и не думала, что сама доживу. И каждый год, когда друзья и родители пели эту песню, мне становилось грустно, ведь они воспевали то, чему на самом деле не бывать. Они надеялись на невозможное. И я их подведу.

А на видеозаписи я, задув первую в своей жизни именинную свечу и съев кусочек глазури с ложечки, протянутой отцом, выглядела такой счастливой, потому что знать не знала, о чем поется в песне.

Сто лет Ленни и Марго

Мысль проскользнула в голову, как серебристая чешуйница.

Мне понадобилось передать ее кому-то, пока не ускользнула обратно, – на тумбочке даже ручки не оказалось.

В палате у нее было темно и почти тихо – только от постели женщины с монограммой на халате доносился оглушительный храп.

Я подошла к кровати Марго, отдернула шторку. И, глотнув воздуха, сказала:

– Истории! Ваши истории!

Марго открыла глаза.

– Нам надо их нарисовать! По одной за каждый год!

Еще и четырех утра не было, но Марго приподнялась, села в постели и, сощурившись в темноте, поглядела на меня.

– Нам сто лет, помните? – сказала я, а то вдруг она забыла. – Семнадцать плюс восемьдесят три. Сто лет – сто рисунков.

– Знаешь что, Ленни?

– Что?

– А это идея.

Дежурный медбрат, крепкий парень по имени Петр с посверкивавшей в левом ухе серьгой, посоветовал мне отправляться обратно в постель, и теперь, лежа в темноте, я все обдумывала.

Вернувшись в Мэй-урд, ручку я так и не нашла, поэтому просто глядела в потолок и надеялась, что хотя бы один из нас – я, Марго или Петр, проснувшись поутру, вспомнит, каков был план.

Там, во внешнем мире, есть люди, которые прикасались к нам, любили нас или бежали от нас. И в этом смысле мы не исчезнем. Если пойти туда, где мы были, можно встретить человека, однажды разминувшегося с нами в коридоре, но забывшего нас быстрее даже, чем мы скрылись из виду. Мы на заднем плане сотен чужих фотографий – движемся, говорим, расплываемся в фон картинки, которую два незнакомца обрамили и поставили на каминную полку в гостиной. И в этом смысле мы не исчезнем тоже. Но нам мало. Нам мало быть безымянной частицей грандиозной длительности существования. Я хочу – мы хотим – большего. Хотим, чтобы нас знали, знали нашу историю, знали, кто мы и кем будем. А когда мы уйдем – кем были.

Поэтому мы посвятим рисунок каждому прожитому году. Сто лет – сто рисунков. И даже если потом они окажутся в мусорном ведре, уборщик, которому придется их выбрасывать, подумает: “Гляди-ка, сколько рисунков!”

Мы расскажем нашу историю, нацарапав сотню рисунков вместо одной надписи: “Здесь были Ленни и Марго”.

Одно утро 1940 года

В палате было тихо. Утреннее время посещений закончилось, и посетители неохотно, но все же разошлись. Кому-то из пациентов Мэй-урд принесли воздушный шарик, вызвавший большой переполох, за которым я весь день с удовольствием наблюдала. Дело, правда, кончилось тем, что чей-то взбешенный дядя, заявив: “С этой техникой безопасности и политкорректностью все уже с ума посходили!”, схватил гелиевый шарик в виде барашка с надписью “Поправляйся скорее!” и вылетел из палаты впереди всей своей семьи. Приходил он к юному пациенту, воспринявшему случившееся с таким мужеством, какое его дяде никогда, наверное, не обрести. Но меня это только опечалило, потому что Мэй-урд умеет делать детей такими. Спокойными, сдержанными, ровными. Состарившимися раньше времени.

Я брела по коридору в Розовую комнату и размышляла, не состарилась ли и сама раньше времени. Но открыв дверь и увидев семь восьмидесятилетних, обративших ко мне лица, поняла, что мы все-таки еще не ровесники.

– Ленни! – бросилась ко мне Пиппа. – Смотри!

В углу маркерной доски она прикрепил листок бумаги, на котором написала золотыми чернилами: “Грандиозный замысел Ленни и Марго”, и пронумеровала портрет младенца, сделанный Марго, и ужасный рисунок, где я изобразила кадры видеосъемки своего первого дня рождения.

– Два есть, осталось девяносто восемь! – сказала она и, захватив несколько листов бумаги, пошла за мной к столу.

Марго уже что-то рисовала – кажется, зеркало, отражавшее узорчатые обои на противоположной стене.

Я села рядом, а когда Пиппа умчалась, мы с Марго обменялись улыбками.

– Рассказать тебе историю? – спросила она.

Кромдейл-стрит, Глазго, 1940 год

Марго Макрей девять лет

Как-то раз – дело было в 1939-м, спустя несколько недель после того, как отец поступил в армию, – к нам вдруг явилась моя нелюбимая бабушка. Мама даже вскрикнула, когда, открыв входную дверь в тот сумрачный воскресный день, обнаружила за ней бабушку с чемоданом. Откуда та узнала, что отец ушел на фронт, мама понять не могла. В письме из тренировочного лагеря, располагавшегося близ Оксфорда, отец клялся, что и словом не обмолвился об этом своей матери и понятия не имеет, почему она вдруг возникла у нас на пороге.

Уж и не знаю теперь, за чье благополучие молиться – свое или ваше, – написал он. – Там под раковиной бутылка виски спрятана.

Я видела бабушек в деле и знала, что они добрые, милые и ласковые. Бабушка Кристабель шила ей симпатичные платица. Мама моей мамы, которая умерла, когда мне исполнилось пять, связала однажды кофту для меня и такую же – для моей куклы, чтобы мы были друг другу под стать.

Но с порога на нас сердито глядела совсем другая женщина.

У моей нелюбимой бабушки были особые духи – только для Иисуса. Их резкий аромат застревал у меня в горле. Каждое воскресное утро у зеркала в прихожей она, собираясь к Иисусу, приводила себя в надлежащий вид. Весьма своеобразный.

Однажды воскресным утром – шел 1940 год, и дни становились мрачнее – я стояла у дверей спальни, навострив уши. И слышала, как бабушка чешет свою гриву. Прямо-таки дерет. Я часто удивлялась, как это она, с такой яростью расчесываясь, не облысела в конце концов.

Мама в кухне брэнчала посудой – судя по звукам, сковородкой, с помощью которой она пыталась воссоздать из яичного порошка нечто съедобное.

Я кралась вниз по лестнице, надеясь, что бабушка меня не заметит.

А она прищипливала к голове воскресную шляпу, закалывая со всех сторон невидимками. И меня пригвоздила взглядом.

Я спустилась и застала маму на кухне. Бледная, осунувшаяся, она стояла, уставившись в сковородку с яичным порошком, и не двигалась с места.

– Он погиб? – спросила я.

Отец в это время был во Франции, и когда я видела мать такой, все внутри переворачивалось: не иначе как телеграмма пришла.

– Нет, – сказала она тихо, не сводя глаз со сковородки.

– Вы говорите об отце? – прокричала из прихожей бабушка – не мигая, она глядела в зеркало и подкручивала ресницы с помощью какого-то жуткого металлического приспособления. – А ведь он, может, и погиб. Лежит на поле боя, разорванный на куски.

Услышав это, мама подняла голову, и я увидела, что веки у нее красные.

– А вам даже недосуг за него помолиться, – продолжала бабушка, зажимая ресницы в металлические тиски.

Мама открыла рот, будто хотела что-то сказать, но, так и не сказав, закрыла.

– Подумать только, – не унималась бабушка, – жена и дочь не могут найти времени, чтобы попросить Господа и всех его ангелов защитить любимого мужа и отца.

Мама отложила деревянную ложку – освободила руки, чтобы слезы утереть.

– Твоему отцу, Марго, теперь один Господь поможет. – Бабушка опустила щипчики для завивки ресниц и, наклонившись к зеркалу, оценила результат своих трудов.

Довольная, вынула из сумочки тонкий флакон с тошнотворными духами и принялась обрызгиваться. Три раза брызнула на левое запястье, три – на правое. Три раза на шею, три – на блузку. Она обрызгивалась и пела. Голос у нее был тонкий, жиденький, но не срывался.

– “Восстань и в латы облачись, Иисусова дружина”.

Мама пошла к буфету за солью и перцем, и по щекам ее снова потекли слезы.

– “Сильна Господней силой ты...”

Бабушка обрызгала духами волосы, а под конец поля своей шляпы – трижды.

– “... дарованной чрез Сына”.

Мама посыпала яичный порошок солью с перцем и закрыла глаза.

– “Сильна во Господе небесных воинств, Всемогущем”.

Бабушке осталось только приколоть алую брошь на блузку с левой стороны.

Слезы текли все быстрее, мама уже не могла с ними справиться.

Я подошла к бабушке и спросила:

– У тебя есть носовой платок?

Она пошарила в кармане уже надетого длинного шерстяного пальто – любимого пальто моей мамы, затребованного у нее из шкафа, чтобы моя нелюбимая бабушка не мерзла за молитвой. Вынула розовый платок и смятый клочок бумаги. Неприязненно вручила мне платок, а бумажку выкинула в мусорное ведро и спросила:

– На что тебе сдался платок?

– Мама плачет.

Наклонившись к зеркалу, бабушка заглянула в кухню, оценила результат своих трудов.

И, довольная, отправилась в церковь.

Когда она ушла, я достала бумажку из мусорного ведра, развернула. На ней грязноватым отцовским почерком написан был текст маминей любимой песни:

Как я люблю тебя,

*Сказать легко —
Так океан глубок
И небо высоко.¹*

Я разгладила листок, как смогла, отнесла наверх, в мамину спальню, и положила ей под подушку.

Эту любовную записку мы нашли первой.

Оказалось, отец оставил их для мамы повсюду. Спрятал в одной из самых красивых ее туфель на высоком каблуке, прижал банкой в глубине буфета, сунул за книги на полке в гостиной. Вложил между ее любимыми пластинками. В одних он тоже цитировал тексты песен, в других шутил, в третьих – просил его не забывать.

Мама собирала записки и складывала в стеклянную банку с крышкой на туалетном столике. Когда мы находили новую, она улыбалась – как не улыбалась никогда еще в разлуке с отцом. Обнаружив еще одну в нижнем ящике своей тумбочки, я спрятала ее до поры до времени, чтобы мама улыбнулась снова, когда все остальные будут найдены. Или когда придет телеграмма.

¹ Из песни «Как глубок океан» на стихи Ирвинга Берлина.

Ленни и Новенькая Медсестра

– Что ты там пишешь в блокноте, Ленни?

– В этом? – Я взяла с тумбочки блокнот, а в голове мелькнуло: и когда это она успела заметить, что я нем пишу?

Новенькая Медсестра присела на край моей кровати. Она скинула туфли, и теперь ее ноги в разных носках (один розовый с вишенками, другой полосатый, с мордочкой мопса на пальцах), свесившись, болтались сбоку. Она, разумеется, хотела, чтоб я дала ей заглянуть в блокнот, но я не давала.

– Историю пишу.

– Историю чего?

– Своей жизни. И жизни Марго.

– Ваших ста лет?

– Точно. Хотя писать я начала еще до встречи с Марго.

– Так это, выходит, дневник?

Я покрутила блокнот в руках. Он в глянцевой обложке разных оттенков фиолетового. Заполнять страницы приходится с обеих сторон, я ведь не хочу, чтобы место закончилось раньше, чем дойду до последней, поэтому они морщатся и переворачиваются с хрустом. Иногда я просто так переворачиваю их туда-сюда – этот хруст так приятен.

– Наверное.

– Я тоже вела дневник, – Новенькая Медсестра достала из нагрудного кармана халата леденец, развернула. Протянула мне. Я и забыла, когда в последний раз сосала леденец. Он был со вкусом колы.

– Правда?

Она развернула другой леденец, розовый, сунула в рот:

– Угу. Только ничего интересного там не было. Эта девочка говорила про меня за спиной то-то, поэтому я стала говорить про нее то-то, тогда она решила меня побить, а я дала ей пинка.

– Правда?

Вид у Новенькой Медсестры был немного гордый, но она сказала, будто опасаясь, что я с ее санкции примусь на радостях всех пинать:

– Пинаться нехорошо.

– Тебе попало за это?

Она перекатила леденец во рту.

– Скорей всего.

– Пишу, когда заснуть не могу, – объяснила я. – Рисую я не очень, поэтому решила записывать истории – на случай, если рисунков моих не поймут.

– А про меня там есть? – спросила Новенькая Медсестра.

– Если да, ты хотела бы почитать?

– Ну конечно!

– Тогда нет, про тебя там нету.

– А на самом деле есть, так ведь?

– Кто его знает.

Она встала с кровати, сунула ноги в туфли.

– Сделай меня выше ростом, если все-таки будешь описывать.

Я только глянула на нее многозначительно.

– Спокойной ночи, Ленни.

Новенькая Медсестра ушла, оставив меня наедине с дневником. Писать про нее.

Один вечер 1941 года

– Этого я сделал в тот же год. – Уолтер показывал нам с Марго снимок живой изгороди в форме лебедя на своем смартфоне с графическими кнопками невероятных размеров. – А какое самое необычное животное вы сделали? – спросила я.

– Единорога. Для одной женщины. Она продавала дом, но хотела оставить свой след.

– Вот какой женщиной я хотела бы стать, – сказала я.

– Но вообще-то больше всего я розы люблю. Мне удалось вырастить почти безупречные “офелии” и несколько роз ругоз – такие в наших краях нечасто встретишь. Они до сих пор растут у меня на краю сада, но ухаживать за ними, как хотелось бы, я не могу – колено! Белые, дамасские, всегда выходят лучше всех. Они пушистые. Как овечки на ветке.

– О, обожаю дамасские! – воскликнула Элли, подсаживаясь к столу и обдавая нас ароматом древесных духов.

Уолтер смотрел на нее в восхищении. Как на изгородь в форме единорога. Мы решили им не мешать.

Марго вернулась к своему рисунку.

– Куда теперь? – спросила я, наблюдая, как она затушевывает края чего-то темного, похожего на жестяное ведро.

– Тебе понравится, – ответила Марго, размазывая большим пальцем тень от ведра на полу. – Мы снова отправимся в дом моего детства, в один из вечеров 1941 года.

Кромдейл-стрит, Глазго, 1941 год

Марго Макрей десять лет

Когда завывла сирена воздушной тревоги, я сидела в ванне. Мама чуть слышно выругалась себе под нос и затушила сигарету в мыльнице.

Вода была еще горячая, а ванна налита до самой линии, нарисованной черной краской вдоль бортиков. – Как они узнают? – спросила я за год до этого, когда мама рисовала эту кривоватую черную полосу.

– Ну... никак.

– Значит, мы можем набрать целую?

– Не так, чтобы перелилось через край, – сказала мама, стараясь не задеть кистью печочку, на которой висела пробка для слива, и не покрасить ее заодно.

– Но мы можем набрать целую?

– Да, наверное.

– Так почему не наберем?

– Потому что они, может, и не узнают, но мы-то будем знать. И как ты станешь смотреть в глаза одноклассникам, после того как приняла хорошую горячую ванну, а им всем пришлось мыться в лужицах?

Я промолчала, но подумала, что вряд ли переживала бы по этому поводу так сильно, как предполагает мама.

Сирена все визжала, и мама, выловив меня из теплой воды, принялась грубо растирать мои руки-ноги полотенцем. Я заныла “больно!”, а она объяснила: надо торопиться.

– Живее, Марго, – сказала мама нараспев, как делала всегда, стараясь виду не подать, что боится, и потащила меня вниз по лестнице, через кухонную дверь в сад за домом.

На улице было очень холодно, даже трава под ногами заиндевелила. Из рта вылетал пар, кружил в воздухе. Я остановилась.

– Идем! – мама уже говорила с нажимом.

А я стояла в одном полотенце в саду посреди зимы и не испытывала никого желания спускаться в холодное, сырое бомбоубежище. Я заплакала.

Когда война была еще в новинку, мама превращала авианалеты в игру, отмечая в блокноте каждый наш спуск в бомбоубежище. “Пятнадцатый визит”, – говорила она, например, будто мы развлекались, а не прятались от летящего с неба огня.

Бомбоубежище нам помогали строить солдаты-тыловики, присланные муниципалитетом. Я смотрела, как они утрамбовывают землю на крыше и в нашем обычном квадратном садике появляется нора – кроличья нора для людей. Надо следить, чтобы там было сухо, сказали солдаты матери и объяснили, какие предметы первой необходимости хранить в убежище. Предупредили, что курить в нем нельзя, а то воздух будет тяжелый.

Перед уходом солдат покрупнее спросил, есть ли у меня к ним вопросы.

– Ав туалет выходить можно будет? – спросила я. Он рассмеялся.

– Пока сирена не смолкнет, никуда выходить нельзя.

– А как же быть с туалетом?

Как хотите – таким был ответ. Мама приспособила для этого большое жестяное ведро. Оно разместилось в углу убежища рядом со стопкой журналов и газет, которые предназначались в основном для чтения, но и туалетной бумагой служили тоже.

– Если хочешь, чтобы я тобой гордилась, – сказала мама, установив ведро на место, – никогда им не пользуйся. Можешь забирать мою порцию джема каждый раз, когда, спустившись сюда, не воспользуешься ведром.

И я не пользовалась – в то время джем был для меня большой наградой.

– Шевелись, Марго! – торопила мама.

Я сердито уставилась на нее – стою в одном полотенце, а холод жуткий – и нехотя двинулась следом. Распахнув дверь из гофрированного железа, мы обнаружили мою нелюбимую бабушку – спустив панталоны до лодыжек и подоткнув повыше юбку, она сидела на корточках прямо посреди убежища и мочилась в ведро.

На секунду показалось, что даже сирена смолкла, я слышала лишь, как с шипением бьет о стенки ведра струя мочи. В злополучном свете, падавшем сверху, видно было даже, как маленькие капельки брызжут на пол. На бабушкином лице застыл ужас.

Она помочилась, и теперь ей ничего не оставалось, как нащупать поблизости газету. Промокнувшись статьей из “Телеграф”, бабушка слезла с оседланного ведра, натянула панталоны. Потом взяла ведро, в котором плескалась теперь моча, и немало, а сверху плавал намоченный обрывок “Телеграф”, и аккуратно отнесла в угол. Избегая наших взглядов, чинно уселась справа на скамью, будто в церковь пришла в воскресенье, расправила плиссированную юбку. Взяла лежавший рядом роман, открыла. Бабушка держала книжку перед глазами, но смотрела, не мигая, в пространство.

Мы с мамой, ни слова не говоря, заняли место на противоположной скамье. Усаживаясь, я заметила, что у бабушки заалели щеки. Резкий запах мочи бил мне в нос – и маме, и бабушке, наверное, тоже. Он сделался четвертым обитателем нашего крошечного убежища.

Мама осторожно расчесала мои влажные волосы, терпеливо натянула на меня запасное платье, которое хранила под скамейкой для таких вот экстренных случаев. Я не протестовала, хотя еще не обсохла, а в убежище было очень холодно.

– Думала, – проговорила бабушка в тишине, переворачивая страницу, – вас нет дома.

Мама перехватила мой взгляд, и я поняла: если смогу не засмеяться, она всю неделю будет отдавать мне свой джем.

Но я все равно засмеялась, и мама тоже.

Ленни и прощение Часть I

– Скучали по мне?

Отец Артур вскрикнул – неподобающим для пожилого священнослужителя образом.

– Ленни?

– Я вернулась!

Отец Артур вскочил, постоял, схватившись за сердце, и не очень-то ловко выбрался из-за скамьи. Тяжело дыша, будто марафонец, только что пересекший финишную черту, он сглотнул и прохрипел: – Да. Вижу. Я, знаешь ли, уже немолод. А стариков лучше не заставлять врасплох.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.